

Лотреамон. Песни Мальдорора

Песнь I

(1) Дай бог, чтобы читатель, в ком эти песни разбудят дерзость, в чьей груди хоть на миг вспыхнет бушующее в них пламя зла, – дай бог, чтоб он не заблудился в погибельной трясине мрачных, сочащихся ядом страниц, чтобы смог он найти неторную, извилистую тропу сквозь дебри; ибо чтение сей книги требует постоянного напряжения ума, вооруженного суровой логикой вкупе с трезвым сомнением, иначе смертельная отравка пропитает душу, как вода пропитывает сахар. Не каждому такое доступно, лишь избранным дано вкушать сей горький плод и не погибнуть. А потому, о слабая душа, остановись и не пытайся проникнуть дальше, в глубь неизведанных земель; не вперед, а вспять направь свои стопы. Ты слышишь, не вперед, а вспять, подобно тому как почтительный сын отвращает глаза от сияющего добродетелью лица матери или, вернее, длинному клину теплолюбивых и благоразумных журавлей, когда с наступлением холодов летят они в тишине поднебесья, расправив могучие крылья, держась известного им направления, и вдруг навстречу им задует резкий ветер, предвестник бури. Старейший, летящий во главе всей стаи журавль встревоженно качает головой, а стало быть, и клювом тоже и недовольно им трещит (еще бы, на его месте я тоже был бы недоволен), а между тем порывы ветра злобно треплют облезлую его выю, пережившую целых три журавлиных поколения, – гроза все ближе. И тогда, неспешно и тщательно обзрев горизонт своим многоопытным оком, вожак (он и никто другой облечен правом являть свой хвост взорам всех летящих позади и уступающих ему в мудрости птиц) издает унылый предостерегающий крик, как страж, отпугивающий злоумышленника, и плавно отклоняет вершину геометрической фигуры, образованной птичьими телами (возможно, это треугольник, но третьей стороны не видно*), вправо или влево – так опытный шкипер меняет галс – и, поворачивая крылья, что кажутся с земли не больше воробьиных, с философическим смирением ложится на другой, безопасный курс.

(2) Ты, верно, ждешь, читатель, чтоб я на первых же страницах попотчевал тебя изрядной порцией ненависти? – будь спокоен, ты ее получишь, ты в полной мере усладишь свое обоняние кровавыми ее испарениями, разлитыми в бархатном мраке; твои благородные тонкие ноздри затрепещут от вожделения, и ты опрокинешься навзничь, как алчная акула, едва ли сознавая сам всю знаменательность своих деяний и этого вдруг пробудившегося в тебе голодного естества. Обещаю, две жадные дырки на гнусной твоей роже, уродина, будут удовлетворены сполна, если только ты не поленишься три тысячи раз подряд вдохнуть зловоние нечистой совести Всевышнего! На свете нет ничего, столь благоуханного, так что твой нос-турман, вкусив сей аромат, замрет в немом экстазе, как ангелы на благодатных небесах.

(3) Теперь скажу несколько слов о том, как добр и счастлив был Мальдорор* в первые, безоблачные годы своей жизни, – вот эти слова уже и сказаны. Но вскоре он заметил, что по некоей фатальной прихоти судьбы был создан злым. Долгие годы в меру сил скрывал он свою натуру, но это длительное, неестественное напряжение привело к тому, что ему стала каждый день бешено бросаться в голову кровь, так что наконец, не выдержав этой муки, он всецело предался злу... и задыхался полной грудью в родной стихии! Подумать страшно: всякий раз, как Мальдорор касался губами свежих щечек ребенка, он испытывал желанье исполосовать их острой бритвой, и он охотно сделал бы это, не останавливая его Правосудие с его грозным арсеналом наказаний. Но он не лицемерил, он прямо говорил, что жесток. Вняли ль вы его словам, о люди? Вот и теперь он повторяет это свое признание на бумаге, и

перо дрожит в его руке! Увы, его силы помощнее нашей воли... Черт побори! Что бы вы сказали, если б камень вздумал вдруг противиться закону тяготенья? Ах, это невозможно? Но так же невозможно злу жить в ладу с добром, хотя б оно того и пожелало. К тому я и клоню.

(4) Иные пишут для того, чтобы заставить публику рукоплескать своей добродетели, напускной или подлинной. Я же посвящаю свой талант живописанью наслаждений, которые приносит зло. Они не мимолетны, не надуманы, они родились вместе с человеком и вместе с ним умрут. Или благое Провиденье не допустит, чтобы талант служил злу? Или злодей не может быть талантлив? Мое творение покажет, так ли это, а вы судите сами, была бы охота слушать... Погодите, у меня, кажется, встали дыбом волосы, ну, да это пустяки, я пригладил их рукой, и они послушно улеглись. Так вот, мелодии, которые певец исполнит перед вами, не новы, но то и ценно в них, что все надменные и злобные мысли моего героя каждый обнаружит в себе самом.

(5) Я насмотрелся на людей, и все они, все до единого, тщедушны и жалки, все только и делают, что вытворяют одну нелепость за другой да старательно развращают и отупляют себе подобных. И говорят, что все это - ради славы. Глядя на эту комедию, я хотел рассмеяться, как смеются другие, но, несмотря на все старания, не смог - получалась лишь вымученная гримаса. Тогда я взял острый нож и надрезал себе уголки рта* с обеих сторон. Я было думал, что достиг желаемого. И, подойдя к зеркалу, смотрел на изуродованный моею же рукой рот. Но нет! Кровь так хлестала из ран, что поначалу было вообще ничего не разглядеть. Когда же я взгляделся хорошенько, то понял, что моя улыбка вовсе не похожа на человеческую, иначе говоря, засмеяться мне так и не удалось.

Я насмотрелся на людей, мерзких уродов с жуткими запавшими глазами, они бесчувственнее скал, тверже стали, злобнее акулы, наглее юнца, неистовей безумного убийцы, коварнее предателя, притворней лицедея, упорнее священника; нет никого на свете, кто был бы столь же скрытен и холоден, как эти существа, им нипочем ни обличенья моралистов, ни справедливый гнев небес! Я насмотрелся на таких, что грозят небу джум кулаком, - так угрожает собственной матери испорченный ребенок - верно, злой дух подстрекает их, жгучий стыд превратился в ненависть, которую горит их взор, они угрюмо молчат, не смея выговорить вслух затаенных своих святотатственных мыслей, полных яда и черной злобы, а милосердный Бог глядит на них и сокрушается. Насмотрелся я и на таких, которые с рождения до смерти, каждый день и час, изощряются в страшных проклятиях всему живому, себе самим и своему Создателю, которые растлевают женщин и детей, бесстыдно оскверняя обитель целомудрия. Пусть вознегодует океан и поглотит разом все корабли, пусть смерчи и землетрясения снесут дома, пусть нагрянут мор, глад, чума и истребят целые семьи, невзирая на мольбы несчастных жертв. Люди этого и не заметят. Я насмотрелся на людей, но чтобы кто-нибудь из них краснел или бледнел, стыдясь своих деяний на земле, - такое доводилось видеть очень редко. О вы, бури и ураганы, ты, блеклый небосвод, - не пойму, в чем твоя хваленая красота! - ты, переменчивое море - подобие моей души, - о вы, таинственные земные недра, вы, небесные духи, о ты, необъятная вселенная, и ты, Боже, щедрый творец ее, к тебе взываю: покажи мне хоть одного праведного человека!.. Но только прежде приумножь мои силы не то я могу не выдержать и умереть, узрев такое диво, - случается, еще и не от такого умирают.

(6) Две недели надо отращивать ногти. А затем - о, сладкий миг! - схватить и вырвать из постели мальчика, у которого еще не пробился пушок над верхней губой, и, пожирая его глазами, сделать вид, будто хочешь откинуть назад его прекрасные волосы и погладить его лоб! И наконец, когда он совсем не ждет, вонзить длинные ногти в его нежную грудь*, но так, чтобы он не умер, иначе как потом насладиться его муками. Из раны потечет кровь, ее так приятно слизывать, еще и еще раз, а мальчик все это время - пусть бы оно длилось вечно! - будет плакать. Нет ничего лучше этой его горячей крови, добытой так, как я сказал, - ничего, кроме разве что его же горько-соленых слез. Да разве тебе самому не случалось попробовать собственной крови, ну хотя бы лизнуть ненароком порезанный палец? Она так хороша, не правда ль, хороша тем, что вовсе не имеет вкуса. Теперь припомни, как однажды, когда тебя одолевали тягостные мысли, ты спрятал скорбное, мокрое от текущей из глаз влаги лицо в раскрытые ладони, а затем невольно поднес ладонь, эту чашу, трясущуюся, как бедный школьник, что затравленно смотрит на своего бессменного тирана, - ко рту, поднес и жадно выпил слезы! Они так хороши, не правда ли, остры, как уксус? Как будто слезы влюбленной женщины; и все же

детские слезы еще приятней на вкус. Ребенок не предаст, ибо не ведает зла, а женщина, пусть и любящая, предаст непременно (я сужу, опираясь лишь на логику вещей, потому что сам не испытал ни любви, ни дружбы, да, верно, никогда и не принял бы ни того, ни другого, по крайней мере, от людей). Так вот, если собственные кровь и слезы тебе не претят, то отведай, отведай без опаски крови отрока. На то время, пока ты будешь терзать его трепещущую плоть, завяжи ему глаза, когда же вдоволь натешись его криками, похожими на судорожный хрип, что вырывается из глотки смертельно раненных на поле брани, тогда мгновенно отстранись, отбеги в другую комнату и тут же шумно ворвись обратно, как будто лишь сию минуту явился ему на помощь. Развяжи его отекающие руки, сними повязку с его смятенных глаз и снова слизни его кровь и слезы. Какое непритворное раскаяние охватит тебя! Божественная искра, таящаяся в каждом смертном, но оживающая так редко, вдруг ярко вспыхнет – увы, слишком поздно! Растрогается сердце и изольет потоки сострадания на невинно обиженного отрока: "О бедное дитя! Терпеть такие жестокие муки! Кто мог учинить над тобою неслыханное это преступление, какому даже нет названья! Тебе, наверно, больно? О, как мне жаль тебя! Родная мать не ужаснулась бы больше, чем я, и не вспылала бы большей ненавистью к твоим обидчикам! Увы! Что такое добро и что такое зло! Быть может, это проявления одной и той же неутолимой страсти к совершенству, которого мы пытаемся достичь любой ценой, не отвергая даже самых безумных средств, и каждая попытка заканчивается, к нашей ярости, признанием собственного бессилия. Или все-таки это вещи разные? Нет... меня куда больше устраивает единосущность, а иначе что станется со мною, когда пробьет час последнего суда! Прости меня, дитя, вот пред твоими чистыми, безгрешными очами стоит тот, кто ломал тебе кости и сдирал твою кожу, – она так и висит на тебе лохмотьями. Бред ли больного рассудка или некий неподвластный воле глухой инстинкт – такой же, как у раздирающего клювом добычу орла, – толкнули меня на это злодеяние, – Не знаю, но только я и сам страдал не меньше того, кого мучил! Прости, прости меня, дитя! Я бы хотел, чтобы, окончив срок земной жизни, мы с тобою, соединив уста с устами и слившись воедино, пребывали в вечности. Но нет, тогда я не понес бы заслуженного наказания. Пусть лучше так: ногтями и зубами ты станешь разрывать мне плоть – и эта пытка будет длиться вечно. А я для совершения сей искупительной жертвы украшу свое тело благоуханными гирляндами; мы будем страдать вместе: я от боли, ты – от жалости ко мне. О светлокудрый отрок с кротким взором, поступишь ли так, как я сказал? Ты не хочешь, я знаю, но сделай это для облегчения моей совести". И вот, когда кончишь такую речь, получится, что ты не только надругался над человеком, но и заставил его проникнуться к тебе любовью – а слаще этого нет ничего на свете. Что же до мальчугана, ты можешь поместить его в больницу – ведь ему, калеке, не на что будет жить. И все еще станут превозносить твою доброту, а когда ты умрешь, к ногам твоей босоногой статуи со старческим лицом свалят целую грудку лавровых венков и золотых медалей. О ты, чье имя не хочу упоминать на этих, посвященных восхваленью зла, страницах, я знаю что до сих пор твое всепрощающее милосердие было безгранично, как вселенная. Но ты еще не знал меня!

(7) Я заключил союз с проституцией, чтобы сеять раздор в семьях. Помню ночь, когда свершился сей пагубный сговор. Я стоял над некой могилой. И услышал голос огромного, как башня, сияющего в темноте червя: "Я посвечу тебе. Прочти, что тут написано. Не я, а тот, кто всех превыше, так велит". И все вокруг залил кровавый свет, такой зловещий, что у меня застучали зубы и беспомощно повисли руки. Прислонившись, чтобы не упасть, к полуразвалившейся кладбищенской стене, я прочитал: "Здесь покоится отрок, погибший от чохотки, его история тебе известна. Не молись за него". Не у многих, верно, хватило бы духу выдержать такое. Меж тем ко мне приблизилась и упала к моим ногам прекрасная нагая женщина. "Встань", – произнес я и протянул ей руку, как протягивает ее брат, чтоб задушить свою сестру. И сказал мне сияющий червь: "Возьми камень и убей ее". – "За что?" – спросил я. А он: "Берегись, ты слаб, а я силен. Имя той, что простерта здесь, Проституция". И я почувствовал, как к горлу подступили слезы, и ярость захлестнула сердце, и неизведанная сила разлилась по жилам. Взявшись за огромный камень, я напряг все жилы, поднял его водрузил себе на плечо. Затем, не выпуская камня, влез на вершину самой высокой горы и оттуда обрушил глыбу на червя и раздавил его. Так что голова его ушла в землю на человеческий рост, а глыба подскочила на высоту полдюжины церковей и вновь упала прямо в озеро, пробив в его дне исполинскую воронку, в которой в тот же миг забурлила хлынувшая от берегов вода. Кровавый свет угас, покой и темнота вновь воцарились на земле. "Горе тебе! Что ты сделал?" – вскричала нагая красавица "Мне больше по душе

не он, а ты, - ответил я, - ибо несчастье вызывает во мне сострадание. Не твоя вина, что Вечный Судия тебя такой создал". - "Настанет час, когда и люди воздадут мне по справедливости - вот все, что я могу сказать. Пока же дай мне удалиться, укрыть мою неутолимую печаль на дне морском. На всем свете не презираешь меня один лишь ты, да еще кошмарные чудовища, что водятся там, в мрачных глубинах. Ты добр. Прощай же, единственный, кто возлюбил меня!" - "Прощай! Прощай! Я буду любить тебя вечно!.. Отныне отрекаюсь от добродетели". И потому, о люди, услышав, как студеной ветер воет над морями и над сушей, над большими, давно скорбящими обо мне городами и над полярными пустынями, скажите: "То не Божье дыханье пролетает над землею, то тяжкий вздох Блудницы, смешавшийся со стоном уроженца Монтевидео"* . Запомните это, дети мои. И преклоните в милосердии своем колена, и пусть все люди, которых больше на земле, чем вшей, воссылают к небесам молитвы.

(8) Кому хоть раз случалось провести ночь на пустынном морском берегу, тот замечал, как желтый, призрачный, туманный лунный свет* причудливо преображает весь пейзаж. Как ползут, бегут, сплетаются и замирают распластанные по земле тени деревьев. Когда-то, в далекую пору крылатой юности, эта фантазмагория пленяла меня, навевала грезы, теперь же приелась. С унылым стоном треплет листья ветер, зловещим, леденящим душу басом причитает филин. В этот час во всех дворовых псов округи вселяется безумие*; одичав, сорвавшись с цепи, они несутся прочь без оглядки. Но вдруг, застыв как вкопанные, тревожно озираются по сторонам горящими глазами и, подобно слонам, что в смертный час отчаянным усилием поднимают головы с беспомощно висящими ушами и вытягивают вверх хоботы, - собаки поднимают головы, с такими же беспомощно висящими ушами, вытягивают шеи и лают, лают... то как плач голодного ребенка звучит этот лай, то как вопль подбитого кота на крыше, то как стенанья роженицы, то как предсмертный хрип в чумном бараке, то как божественное пенье юной девы; псы лают, воют и рычат на звезды, на луну, на горы, застывшие вдали мрачными громадами, на хладный ветер, что наполняет их грудь и обжигает красное нутро ноздрей; на ночное безмолвие, на сов, что со свистом прочерчивают во тьме дуги, едва не касаясь крыльями собачьих морд и унося в клювах лягушек и мышей, живую, лакомую пищу для птенцов; на вора, что скачет во весь опор подалеже от ограбленного дома; на змей, скользящих меж стеблей папоротника и заставляющих псов скалить зубы и злобно ощериваться; на собственный лай, что пугает их самих; на жаб, которых они звучно цапают зубами (а кто велел этим тварям вылезать из болота?); на ветки, что скрывают столько тайн, непостижимых тайн, в которые они пытаются проникнуть, впиваясь умными глазами в кольшающую листву; на пауков, что зацепились и повисли на их долговязких лапах или спасаются бегством, карабкаясь вверх по древесным стволам; на воронов, что маялись весь день, ища, чем поживиться, а сейчас, голодные и чуть живые, разлетаются по гнездам; на береговые скалы; на разноцветные огни, что зажигаются на мачтах невидимых судов; на ропот волн; на рыбин, что, резвясь, выныривают из воды, мелькают черными горбами и вновь уходят вглубь; и, наконец, на человека, который обратил их в рабство.

Но вот они снова срываются с места и летят напропалую, кровавая лапы, через поля, овраги, вдоль дорог, по кочкам, рывинам, по острым камням, как одержимые, как будто неумная жажда гонит их на поиски прохладного источника. Их протяжный вой полнит ужасом округу. Горе запоздалому ночному путнику! Псы, прислужники смерти, набросятся, и вопьются острыми клыками, загрызут - что-что, а зубы у собак отменные! - сожрут, давясь кровавыми кусками. Даже дикие звери в страхе мчатся прочь, не смея присоединиться к жуткой трапезе. А после нескольких часов такого безумного бега псы, изнуренные, вывалив из пасти языки, в остервенении набросятся друг на друга и в мгновение ока разорвут друг друга в клочья. Но это не просто жестокость... Я помню, как однажды, глядя на меня остекленевшими глазами, матушка сказала: "Когда услышишь, лежа в постели, лай псов поблизости, накройся поплотнее одеялом и не смейся над их безумьем, ибо ими владеет неизбывная тоска по вечности, тоска, которую томимы все: и ты, и я, и все унылые и худосочные жители земли. Но это зрелище возвышает душу, и я позволяю тебе смотреть на него из окна". Я свято чту завет покойной матери. Меня, как этих псов, томит тоска по вечности... Тоска, которой никогда не утолить!.. Уверяют, что мои родители - обычные мужчина и женщина. Странно... Мне казалось, что я не столь низкого происхождения. А впрочем, какая разница? Будь на то моя воля, я бы и вовсе предпочел быть сыном прожорливой, как смерч, акулы и кровожаднейшего тигра - тогда во мне было бы меньше злобы. Эй, вы, глазающие на меня зеваки, держитесь-ка подалеже: мое дыханье

ядовито! Еще никто не видел воочию зеленых морщин на моем челе, моего костистого лица, похожего на рыбий скелет, или на каменистую морену, или на горный кряж – из тех, где я любил бродить, когда седина еще не убелила мою голову. Ибо, когда грозowymi ночами я, одинокий, как валун посреди большой дороги, с горящими глазами и развевающимися на ветру волосами, приближаюсь к жилищам людей, то закрываю ужасное свое лицо бархатным платком, черным, как сажа в трубе, дабы чьи-нибудь глаза не узрели уродства, которым с ухмылкой торжествующей ненависти заклеил меня Всевышний. По утрам, когда показывается око вселенной, на целый мир отверстое с любовью*, лишь мне отрады нет; забившись в глубину своей излюбленной пещеры, спиной к свету, не отрывая глаз от темных недр, я упиваюсь отчаянием, словно терпким вином, и что есть силы раздираю собственную грудь. Но нет, я не безумен! Нет, я не единственный страдалец! Нет, я все еще дышу! Бывает, смертник перед казнью ощупывает шею и поводит головою, представляя, что с ней станет там, на эшафоте, так же и я, попирая ногами соломенное ложе, стою и часами, круг за кругом, верчу головой, а смерть все не идет. В минуту передышки, когда, устав вращать головой все в одну и ту же сторону, я останавливаюсь, чтобы начать вновь – в другую, я успеваю через щели густо сплетенных ветвей взглянуть на волю – и ничего не вижу! Ничего... лишь круговорот полей, деревьев и четки птичьих стай, перечеркнувших небо. Мутится кровь, мутится разум... И чья-то беспощадная десница все бьет и бьет по голове, как тяжким молотом по наковальне.

(9) Громко, торжественно, ровно, без лишнего пыла намерен я продекламировать сию строфу. Так приготовьтесь же внимать ей, но берегитесь: она разбередит вам душу, оставит в ней глубокий и неизгладимый шрам. Не думайте, будто я при последнем издыхании – еще не иссохла плоть моя, еще не сморщилось от дряхлости лицо мое. А потому сравнение с лебединой песнью не годится: пред нами не лебедь, испускающий дух, а страшное создание; наружность его безобразна – ваше счастье, что вы не видите его лица, – но много мерзостнее душа его. Отсюда, впрочем, еще не следует, что я преступен... Ну, да хватит об этом. Я видел океан совсем недавно, недавно ходил по корабельной палубе, и воспоминания мои так свежи, точно все это было вчера. Однако я буду сдержан, сохраняйте хладнокровие и вы, если, конечно, сможете, читая эти строки – уж я жалею, что принялся писать их, – и не краснейте от стыда за человека. О нежноокий спрут*, ты, чья душа неотделима от моей, ты, самое прекрасное из всех земных существ, ты, властелин четырехсот рабынь-присосок, ты, в ком так гармонично, естественно, счастливо сочетаются божественная прелесть и притягательная сила, зачем ты не со мною, спрут! Как славно было бы сидеть с тобою на скалистом берегу, прижавши грудь к твоей груди, – твоя как ртуть, моя как алюминий – и вместе наслаждаться дивным видом!

О древний Океан, струящий хрустальные воды, ты словно испещренная багровыми рубцами спина бедняги-юнга; ты огромный синяк на горбу земного шара – вот удачное сравнение! Не зря твой неумолчный стон, который часто принимают за беззаботный лепет бриза, пронзает наши души и оставляет в них незаживающие язвы, и в каждом, кто пришел вкушать твоих красот, ты оживляешь память о мучительном начале жизни, когда впервые познаем мы боль, с которой уже не расстаемся до самой смерти. Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан, твоя идеальная сфера тешит взор сурового геометра*, а мне она напоминает человеческие глазки: маленькие, как у свиньи, и выпученные, как у филина. Однако человек во все времена мнил и мнит себя совершенством. Подозреваю, что одно лишь самолюбие заставляет его твердить об этом, в глубине души он сам не верит в этот вздор и знает, как он уродлив, иначе почему с таким презрением смотрит он на себе подобных? Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан, ты символ постоянства, ты испокон веков тождествен сам себе. Твоя суть неизменна, и если шторм бушует где-то на твоих просторах, то в других широтах гладь невозмутима. Ты не то что человек, который остановится поглазеть, как два бульдога рвут друг друга в клочья, но не оглянется на похоронную процессию; утром он весел и приветлив, вечером – не в духе, нынче смеется, завтра плачет. Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан, в тебе, возможно, таится нечто, сулящее великую пользу человечеству. Даровал же ты ему кита*. Но из скромности ты оберегаешь от дотошных натуралистов тайны твоих сокровенных глубин. Не то что человек, расхваливающий себя по каждому пустяку. Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан, рыбы племени, населяющие твои воды, не клянутся друг другу в братской любви. Каждый вид живет сам по себе, и если такое обособление кажется странным, то лишь на первый взгляд – различие в повадках

и в размерах вполне его объясняет. Люди тоже живут порознь, но никакие естественные причины их к этому не побуждают. И хотя бы их скопилось миллионов тридцать на одном клочке земли никому нет дела до соседа, и каждый словно пустил корни в своем углу. Все, от мала до велика, живут, как дикари в пещерах, и лишь изредка наведываются к сородичам, живущим точно так же, забившись в норы. Идея объединить все человечество в одну семью не что иное, как утопия, уверовать в нее способен лишь самый примитивный ум. При взгляде же на твою наполненную соком жизни грудь невольное сравнение приходит в голову, и думаешь о тех родителях – а их немало, – которые, забыв о долге благодарности перед Отцом Небесным, бросают на произвол судьбы своих отпрысков, детей стыда и блуда. Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан, твоя вода горька. Точь-в-точь как желчь, которую так щедро изливают критики на все подряд: будь то искусство или наука. Гения обзовут сумасшедшим, красавца – горбуном. Должно быть, люди очень остро ощущают свое несовершенство, коли так строго судят! Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан, никакие новейшие приборы, никакие ухищрения человеческой науки пока не позволяют измерить твои бездны – самые длинные, самые тяжелые зонды не достают до дна. Вот рыбы... им доступно то, что запретно человеку. Как часто задавался я вопросом: что легче измерить – бездну влажных недр океана или глубины человеческой души? Как часто размышлял об этом, сжимая чело руками, на палубе борозлящего океан корабля, меж тем как луна подпрыгивала и болталась между мачтами, как мячик, – размышлял, позабыв обо всем, кроме этого непростого вопроса! Так что же глубже и недоступнее: океан или сердце человека? И если тридцать прожитых на свете лет дают хоть какое-то право на собственное суждение о сем предмете, то я сказал бы, что, как ни велики глубины океана, но человеческое сердце несравненно глуше. Знал я праведных людей. Они умирали, дожив лет до шестидесяти, и перед смертью непременно восклицали, что творили лишь добро на этой земле, что были милосердны, и это-де так просто, и это может каждый. Но кто поймет, почему любовники, еще вчера обожавшие друг друга, сегодня расходятся в разные стороны из-за какого-то неверно истолкованного слова, и каждого терзает жажда мести, и каждый кичится гордым одиночеством? Такие чудеса повторяются каждый день, но не становятся понятнее.

Кто поймет, почему нас радуют не только беды человеческие вообще, но и несчастья самых близких друзей, хотя они же нас и огорчают? И наконец главное: человек лицемерен, он говорит "да", а думает "нет". Оттого-то все чада человечества так полны любви друг к другу. О да, психологам предстоит еще немало открытий... Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан! Как ты силен!* На собственном горьком опыте убедились в этом люди. Они испробовали все, до чего только мог додуматься их изобретательный ум, но покорить тебя так и не смогли. И были вынуждены признать над собою твою власть. Они столкнулись с силой, превосходящей их. И имя этой силы – Океан! Они трепещут пред тобою, и этот страх рождает в них почтение. Ты резво, легко и изящно играешь с их железными махинами, кружа их, словно в вальсе. Послушные твоим капризам, они взмывают вверх, ныряют в глубь зыбей так лихо, что любого циркового акробата разобрала бы зависть. И счастье, если тебе не вздумается затянуть их насовсем в кипящую пучину и напрямик отправить в свою утробу – тебе для этого не нужно ни дорог, ни рельсов, – чтобы они поглядели, каково там живет рыба, да заодно составили им компанию. "Но я умнее Океана", – скажет человек. Что ж, возможно, и даже наверное так, но человек боится Океана больше, чем тот страшится человека, и в этом нет сомнения. Сей патриарх, свидетель всего, что совершалось на нашей висящей в пространстве планете от начала времен, снисходительно усмехается при виде наших морских "битв народов". Сначала соберется сотня рукотворных левиафанов. Потом надсадные команды, крики раненых, пушечные выстрелы – сколько шуму ради того, чтобы скрасить несколько мгновений вечности. Наконец представление окончено, и Океан глотает все его атрибуты. Какая бездонная глотка! Она уходит черным жерлом в бесконечность.

А вот и эпилог: какой-нибудь утомленный, отбившийся от стаи лебедь пролетает над местом, где разыгралась эта вздорная и нудная комедия, и не замедляя лета, думает: "Верно, у меня неладно со зрением. Только что тут внизу я видел какие-то черные точки, моргнул – а их уж нет". Привет тебе, о древний Океан!

О древний Океан, великий девственник!* Окидывая взором бескрайнюю пустыню своих неспешных вод, ты с полным правом наслаждаешься своей природной красотой и теми искренними похвалами, что расточаю тебе я. Величавая медлительность – лучшее из всего, чем наградил тебя Создатель,



мерно и сладостно твое дыханье, исполненное безмятежности и вечной, несокрушимой мощи; загадочный, непостижимый, без устали стремишь ты чудо-волны во все концы своих славных владений. Они теснятся друг за другом параллельными грядами. Едва откатится одна, как ей на смену уж растет другая, закипает пеной и тут же тает с печальным ропотом, который словно бы напоминает, что в этом мире все эфемерно, как пена. И люди, живые волны, умирают с таким же неизбежным единообразием, но их смерть не украшает даже пенный всплеск. Порою странница-птица доверчиво опустится на волны и повторяет их изящно-горделивые изгибы, пока уставшие крылья не окрепнут вновь, чтобы нести ее дальше. Хотел бы я, чтоб в человеке был хоть слабый отблеск, хоть тень от тени твоего величья. Я желаю этого от души и от души преклоняюсь пред тобою, но понимаю, что это значит желать слишком многого. Твой высокий дух, воплощение вечности, велик, как мысль философа, как любовь земной женщины, как дивная прелесть летящей птицы, как мечта поэта. Ты прекраснее самой ночи. Послушай, Океан, хочешь быть моим братом? Бушуй же, Океан... еще... еще сильнее, чтобы я мог сравнить тебя с Божьим гневом; выпусти свои белесые когти и расцарапай собственную грудь... вот так. О страшный Океан, гони вперед воинство буйных волн; один лишь я постиг тебя и простираюсь пред тобою ниц. Фальшивое величие человека не внушает мне благоговенья, лишь пред тобою я благоговею. Когда я вижу, как грозно ты шествуешь, увенчанный пенною короной, в сопровождении толпы придворных в белых кружевах, все подчиняя своей магической и страшной силе; когда слышу рев, что вырывается из недр твоих, словно исторгнутый раскаянием в каких-то неведомых грехах, глухой и неумолчный рев, который повергает в ужас и заставляет трепетать людей, хотя бы даже они смотрели на тебя с безопасного берега, - тогда я понимаю, что не вправе посягать на равенство с тобою.

Что ж, равняться с тобою не стану, но я бы отдал тебе всю мою любовь (никто не ведает, сколько ее скопилось во мне, вечно тоскующем по красоте!), когда бы ты не наводил меня на безрадостные мысли о моих соплеменниках, столь смехотворно выглядящих с тобою рядом: ты и они - что может быть комичнее подобного контраста! - вот почему я не могу любить тебя, вот почему ненавижу тебя. Так отчего же вновь и вновь меня влечет к тебе и тянет броситься в твои объятия и освежить твоим прикосновением мое пылающее чело? Я жажду знать о тебе все, жажду проникнуть в неведомый мне тайный смысл твоего бытия. Скажи, быть может, ты обитель Князя Тьмы? Скажи, скажи мне, Океан (мне одному, чтобы не пугать наивные души, живущие в плену иллюзий), уж не дыханье ль Сатаны - причина страшных бурь, что заставляет чьт не до небес взметаться твои соленые волны? Скажи мне будет отрадно узнать, что ад так близок. Еще одна строфа - и конец моему гимну. Итак, мне остается воздать тебе хвалу в последний раз и распрощаться! О древний Океан, струящий хрустальные воды... Нет, я не в силах продолжать, слезы застилают глаза, ибо чувствую; настало время вернуться в грубый мир людей... но делать нечего! Соберем же с духом и свершим, как велит долг, предначертанный нам земной путь. Привет тебе, о древний Океан!

(10) Пусть в мой последний час (а я пишу эти строки на смертном одре) вокруг меня не будет никаких духовных пастырей. Посреди ревающего моря или стоя на вершине горы хочу я умереть... но не обращаю глаз к небу: зачем? - я знаю, мне суждено стинуть навеки. А если бы это было и не так, - надежды на пощаду для меня все равно нет. Но кто это, кто открывает дверь? Я приказал, чтобы никто не смел сюда входить. Кто б ты ни был, ступай отсюда прочь, но, быть может, ты хотел увидеть на моем лице - лице гиены (сравнение неточно, ибо гиена намного милевиднее, чем я) - признаки страданья или страха, - тогда приблизься и разуверься. Жуткая зимняя ночь стоит над миром - ночь, когда буйствуют враждебные стихии, когда в ужасе трепещут смертные, когда юноша, если он таков, каким был в молодости я сам, замышляет жестокую расправу над своим другом. И воеет ветер... твой голос, ветер, унылый вой, наводит тоску на человека: человек и ветер - божьи дети; в последний мой миг на этом свете, о ветер, промчи меня, как тучу, на своих скрипучих крыльях - пронеси над миром, так жадно ждущим моей смерти. Чтоб я тайком полюбовался напоследок обилием примеров злобы человеческой (приятно, оставаясь невидимкой для своих собратьев, поглядеть, чем они занимаются).

Орел и ворон, и бессмертный пеликан, и дикая утка, и вечный странник-журавль - все вострепелось в поднебесье, задрожат от холода и при вспышках молний увидят, как пронесится чудовищная, ликующая тень. Увидят и замрут в недоуменье. И все земные твари: гадюка, пучеглазая жаба, тигр, слон; и твари водяные: киты, акулы, молот-рыба, бесформенные скаты и клыкастый морж - воззрятся на сие вопиющее нарушение законов природы. А человек, стеная, трепеща, падет на землю ниц. Уж не потому ли, что я

превосхожу вас всех в жестокости, против которой я и сам бессилён, ибо она врожденная, – не потому ли вы простерлись предо мною во прахе? Иль я кажусь вам невиданным доселе небесным знамением, вроде роковой кометы, окропляющей кровью тьму кромешной ночи? (И правда, из моего огромного и черного, как грозовая туча, тела на землю льется кровь.) Не бойтесь, дети мои, я не прокляну вас. Велико зло, что вы причинили мне, велико зло, что причинил вам я, – слишком велико, чтобы оно могло быть преднамеренным. Вы шли своим путем, а я – своим, но одинаково порочны были эти пути. Столкновение двух подобных сил было неминуемо и оказалось роковым для вас и для меня. Заслыша такое, люди, чуть осмелев, приподнимут головы и, вытягивая шеи, как улитка выставляет наружу рожки, взглянут вверх, узнать, кому приналежит эта речь. И в тот же миг их лица исказятся такою жуткою гримасой, вспыхнут такою бешеной злобой, что и волки испугались бы. Точно подброшенные гигантской пружиной, вскочат они на ноги. И такой тут поднимется вопль, такая посыплется брань! Узнали! Вот и зверье включилось в хор люлей, со всех сторон несется рев, и рык, и вой, и клекот! И вековой вражды меж человеком и диким зверем как не бывало; она обернулась ненавистью ко мне; а общие чувства, как известно, сближают. Выше, выше поднимите меня, ветры, – я страшусь коварства моих врагов. Я наглялелся вдосталь на это необузданное буйство, теперь пора подалее, пора исчезнуть с глаз их... Благодарю тебя, крылатый подковонос*, благодарю за то, что разбудил меня шорохом своих перепончатых крыльев; увы, я ошибся, моя болезнь была лишь мимолетной хворью, и я с великим сожаленьем возвращаюсь к жизни. Если верить тому, что о тебе говорят, ты прилетал высосать остатки крови, что еще струится в моих жилах; как жаль, что ты не сделал этого!

(11)* Вечер, горит настольная лампа, все семейство в сборе.

– Сынок, подай мне ножницы, они на стуле.

– Их нет там, матушка.

– Ну, так сходи поищи в соседней комнате... Помнишь, милый супруг, как когла-то мы молили Бога послать нам дитя, чтобы заново прожить с ним жизнь и обрести опору в старости?

– Я помню. И Бог исполнил нашу просьбу. Да, что и говорить, жаловаться на судьбу нам не приходится. Напротив, мы неустанно благословляем провиденье за посланную нам милость. Наш Эдуард красотою пошел в мать.

– А характером – в отца...

– Вот ножницы, матушка.

И юноша вернулся к прерванным занятиям... Но вот в дверях возник какой-то силуэт, кто-то стоит и глядит на тихую семейную сцену.

– Что я вижу! На свете столько недовольных своей долей. Чему же радуются эти? Изыди, Мальдорор, прочь от мирного сего очага, тебе не место здесь.

И он ушел!

– Не понимаю, что со мною, мне кажется, все чувства восстали и смешались в моей груди. Не знаю, почему мне смутно и тревожно и словно какая-то тяжесть нависла над нами.

– Со мною то же самое, жена; боюсь, к нам подступает беда. Но будем уповать на Бога, Он наш заступник.

– О, матушка, мне тяжело дышать, и голова болит.

– Тебе тоже плохо, сынок? Дай я смочу тебе уксусом лоб и виски.

– Ах нет, матушка...

Видите, он без сил откинулся на спинку стула.

– Со мной творится что-то непонятное. Все не по мне, все вызывает раздраженье.

– Как ты бледен! О, я предчувствую, что еще до наступления утра случится что-то страшное, что ввергнет всех нас в пучину бедствий!

Чу!..! Где-то вдали протяжные крики мучительной боли...

– Мой мальчик!

– Ах, матушка... мне страшно!

– Скажи скорее, тебе больно?

– Не больно, матушка... Неправда, больно!

В каком-то отрешенном изумлении заговорил отец:

– Такие крики, бывает, раздаются слепыми беззвездными ночами. И хоть мы слышим их, но сам кричащий далеко отсюда, быть может, мили за три, а ветер разносит его стоны по окрестным городам и селам. Мне и раньше рассказывали о таком, но еще никогда не случалось проверить, правда ли это. Ты говоришь о несчастье, жена, но нет и не было с тех пор, как стоит этот мир, никого несчастнее, чем тот, кто ныне тревожит сон своих братьев...

Чу! Где-то вдали протяжные крики мучительной боли.

- Дай бог, чтобы тот край, где он родился и откуда был изгнан, не поплатился тяжкими несчастьями за то, что дал ему жизнь. Из края в край скитается он, отринутый всеми. Говорят, будто он с детства одержим некоей манией. Говорят и другое: будто невероятная жестокость дана ему от природы, будто он сам ее стыдится, а его отец и мать умерли от горя. Иные же уверяют, что причиной всему прозвище, которое дали ему еще в детстве товарищи и которое озлобило его на всю жизнь. Обида была так сильна, что он счел это оскорбление неоспоримым доказательством человеческой жестокости, проявляющейся в людях с малолетства и с возрастом лишь усиливающейся. Прозвали же его ВАМПИРОМ!..

Чу! Где-то вдали протяжные крики мучительной боли.

- Говорят, денно и ночью его терзают такие страшные виденья, что кровь струится у него из уст и из ушей; кошмарные призраки обступают его изголодые и, повинувшись некой необоримой силе, то вкрадчиво и тихо, то оглушительно, подобно тысячегласному реву грозной сечи, не зная жалости, твердят и твердят ему все то же ненавистное и неотвязное прозвище, от которого не избавиться до скончания веков. Кое-кто уверяет, будто он жертва любви или его терзает раскаяние за некое неведомое преступление, скрытое в его темном прошлом. Большинство же сходит на том, что его, как некогда Сатану, снедает непомерная гордыня, и он притязает на равенство с самим Господом.

Чу! Где-то вдали протяжные крики мучительной боли.

- Увы, мой сын, эти страшные излияния не для твоего невинного слуха, и я надеюсь, ты никогда не станешь таким, как этот человек.

- Говори же, Эдуард, скажи, что никогда не станешь таким, как этот человек.

- Любимая матушка, клянусь тебе, родившей меня на свет, что никогда, если только имеет какую-то силу чистая клятва ребенка, никогда не стану таким.

- Ну, вот и хорошо, сынок, и помни: во всем и всегда ты должен слушаться матери.

Далекие стоны затихли.

- Жена, ты кончила работу?

- Осталось несколько стежков на рубашке, хоть мы и так сегодня засиделись допоздна.

- Я тоже не дочитал главу. Давай же, пока есть еще масло в лампе, оба завершим начатое.

- Да, если только волей Божьей останемся в живых! - воскликнул юноша.

- Идем со мною, мой чистый ангел: идем, и тебе не придется работать, с утра до вечера будешь ты гулять на цветущем лугу. Будешь жить в моем чертоге с серебряными стенами, золотыми колоннами и алмазными дверями, Будешь ложиться спать, когда захочешь сам, под звуки чудной музыки, и обходиться без молитвы. А утром, когда светозарное солнце заблещет над миром, когда взвовется на крыльях ввысь веселый жаворонок с звонкою трелью, ты будешь нежиться в постели, пока не надоест. Будешь ступать по мягким коврам, вдыхать нежнейший аромат цветов.

- Пора дать отдых и уму, и телу. Встань, достойнейшая мать семейства, встань, мощною стопой попирая пол. Твои пальцы одеревенели от работы - отложи же иглу. Во всем полезна мера, чрезмерное усердие вредно.

- Ты так чудесно заживешь! Я подарю тебе волшебное кольцо с рубином: повернешь его камнем внутрь - и станешь, как сказочный принц, невидимкой.

- Спрячь, о жена, в недра шкафа орудия твоих повседневных трудов, а я соберу свои бумаги.

- Когда же повернешь рубин обратно, ты, юный чародей, вновь обретешь свое природное обличье. Все это оттого, что я тебя люблю и забочусь о твоём благе.

- Прочь, кто бы ты ни был, отпусти мои плечи...

- Сынок, слишком рано забылся ты в сладких грезах: еще не прочтена совместная вечерняя молитва, еще твоя одежда не сложена в порядке на стуле... Встань же на колени! О предвечный Господь, печать твоей безмерной доброты лежит на всем творении, на каждой малости.

- Неужто тебя не прельщает хрустальный ручей, в котором снуют без усталости рыбки: голубые, серебристые, красные? Ты будешь ловить их такой красивой сетью, что они сами станут заплывать в нее, покуда не наполнят до отказа. Вода в том ручье так прозрачна, что видны лежащие на дне, блестящие и гладкие, как мрамор, валуны.

- Матушка, родная, погляди, какие когти! Мне страшно, но совесть моя чиста, мне не в чем упрекнуть себя.

- Вот мы простерлись ниц у ног Твоих, благоговей пред Твоим величием. Если же закрадется нам в душу дерзкая гордыня, мы тотчас же с презрением

отбросим ее прочь, как горький плод, и, не дрогнув, принесем ее в жертву Тебе.

- Ты будешь купаться в этом ручье рядом с маленькими подружками, и они будут обнимать тебя своими нежными ручками. А когда выйдешь на берег, они тебя украсят венками из роз и из гвоздик. Пленительные существа - за спинами у них дрожат прозрачные крылышки, как у бабочек; прелестные головки, как облачком, окружены длинными кудрями.

- Будь твой дворец прекрасней всех сокровищ мира, я не покину отчий кров и не пойду с тобой. Однако ты, вернее всего, лжешь, потому-то и говоришь так тихо, чтобы никто тебя не услышал. Бросать родителей - грех. И я не стану неблагодарным чадом. Ну, а твои хваленые подружки, уж верно, не красивее, чем глаза моей матушки.

- Славим Господа ныне и присно, ежедневно и ежечасно. Так было и так будет, покуда, послушные веленью Твоему, мы не покинем эту землю.

- Покорные каждой твоей прихоти, они станут во всем угождать тебе. Захочешь ли птицу, которая без отдыха резвится день и ночь, - получай. Захочешь колесницу из снега, способную домчать тебя до солнца, - получай и колесницу. Чего только не добудут они для тебя! Даже того огромного воздушно змея, что спрятан на луне и к чьему хвосту привязаны за шелковые нити все птицы, какие только есть на свете. Подумай же и соглашайся, лучше соглашайся.

- Делай, что хочешь, но я не прерву молитву, чтобы позвать на помощь. И хотя ты бесплотен - я не могу отстранить тебя рукою, - но знай: я не страшусь тебя.

- Все суетно перед лицом Твоим, не меркнет лишь святое пламя непорочной души.

- Подумай хорошенько, не то придется горько пожалеть.

- Отец небесный, отврати, о отврати несчастье, что нависло над очагом!

- Так ты, злой дух, все не уходишь?

- Храни добрую мою супругу, опору и утешение во всех житейских горестях...

- Ну, что же, раз ты не хочешь, будешь стенать и скрежетать зубами, как висельник.

- И любящего сына, чьих нежных уст едва коснулось своим лобзаньем утро жизни.

- Он душит меня, матушка... Спаси меня, отец... Я задыхаюсь... Благословите!

Подобный грому, грянул злорадный вопль и прокатился по округе, так что орлы - глядите! - оглушенные, падают наземь - их наповал сразила воздушная волна.

- Его сердце не бьется более... Мертва и мать, носившая его во чреве. Дитя... его черты так исказились, что я его не узнаю... Жена моя! Мой сын!.. О, где те дни, когда я был супругом и отцом - они ушли давно и безвозвратно.

Недаром наш герой, завидев мирную картину, представшую его очам, решил, что не потерпит такой несправедливости. Знать, сила, которой наделили его духи ада или, вернее, какую он черпает в себе самом, не мнима, и юноша был обречен не дожить до утра.

(12) Тот, кто не ведает слез (ибо привык прятать боль поглубже), огляделся и увидел, что попал в Норвегию. Здесь, на островах Фероз*, он наблюдал охоту на морских птиц: смотрел, как охотники добирались до расположенных на отвесных скалах гнезд, удерживаемые над пропастью длинной веревкой, метров в триста, смотрел и удивлялся, что им дали столь прочный канат. Что ни говори, то был наглядный пример человеческой доброты, и он не верил собственным глазам. Если бы снабжать охотников веревкой довелось ему, уж он бы непременно надрезал ее в нескольких местах, чтобы она порвалась и человек сорвался прямо в море! Как-то вечером отправился он на кладбище, и отроки, из тех, кто любит совокупляться с трупами недавно похороненных красавиц, могли, бы при желании подслушать разговор, который мы приводим здесь в отрыве от действий, которые им сопровождалось.

- Эй, могильщик*, тебе, верно, хочется поговорить со мною? Ведь даже кашалот, когда в пустыне океана появляется корабль, всплывает из глубин и высовывает из воды голову, чтобы поглазеть на него. Любопытство родилось вместе с миром.

- Нет, дружище, мне недосуг болтать с тобой. Уже не первый час луна серебрит мраморные надгробья. В такое время многим являются во сне закованные в цепи и укутанные в длинный, усеянный кровавыми пятнами, как небо звездами, саван женские фигуры. Спящие испускают тяжелые вздохи, точно смертники перед казнью, и наконец просыпаются, чтобы убедиться, что явь



втрое страшнее сна. Я же должен без усталости орудовать заступом, дабы вырыть эту могилу к утру. А когда занят серьезным делом, отвлекаться не следует.

- Он полагает, будто рыть могилу - серьезное дело! Так ты полагаешь, будто рыть могилу - серьезное дело?

- Когда утомленный пеликан кормит собственной плотью голодных детей своих*, хотя никто не видит его великой жертвы, кроме Всевышнего, который сотворил его таким самоотверженным в укор людям, - это можно понять. Когда влюбленный юноша, застав в объятиях другого ту женщину, что он боготворил, проводит дни наедине с тоской, затворником, куря сигару за сигарой, - это можно понять. Когда ученик обречен долгие годы, из которых каждый тянется, как целая вечность, безвылазно жить в лицейских стенах и подчиняться какому-то презренному плебею, денно и ночно за ним надзирающему, он чувствует, как в нем вскипает живая ненависть и как ее пары заволакивают черной пеленою его мозг, готовый, кажется, взорваться. С той минуты, как его заточили в эту тюрьму и пока не настанет миг освобождения, что с каждым днем все ближе, его томит губительный недуг: лицо его желтеет, брови угрюмо сдвигаются, глаза западают. Ночью он лежит без сна и напряженно думает. А днем уносится в мечтах за стены этой кузницы тупиц и предвкушает сладкий миг, когда он вырвется на волю или когда его, как зачумленного, вышвырнут из постылого монастыря, - это можно понять. Но рыть могилу - значит переступить через границу естества. Думаешь, незнакомец, тревожить заступом эту землю, что всех нас кормит, а после служит мягким ложем и укрывает от зимнего ветра, столь свирепого в наших холодных краях, легко тому, кто встревоженно ощупывает черепа давно исчезнувших с лица земли, а ныне благодаря ему возвращающихся на свет в таком виде, и кто теперь, в сумерках, видит, как на каждом кресте проступают огненные буквы, из которых слагается донныне не разрешенный людьми вопрос: смертна или бессмертна душа? Я всегда почитал Господа Бога и его установления, но если наше земное существование прекращается с нашей смертью, то почему же чуть не каждую ночь на моих глазах открываются все могилы и обитатели их бесшумно поднимают свинцовые крышки, чтобы глотнуть свежего воздуха?

- Передохни-ка. Ты совсем обессилел от волнения, тебя шатает, как былинку, продолжать работу было бы безумием. Давай я заменю тебя, у меня много сил. А ты стой рядом и поправляй меня, если я буду делать не так, как надо.

- Как мускулисты его руки и как легко он роет землю - приятно посмотреть!

- Не мучайся напрасными сомненьями: к этим могилам, которыми кладбище усеяно, как луг цветами - сравнение несколько неточное, - следует подходить, вооружившись бесстрастным компасом философии. Пагубные галлюцинации могут возникать и среди бела дня, но чаще бывают как раз по ночам. Вот почему в твоих фантастических видениях нет ничего удивительного. Спроси свой рассудок днем, когда он ясен, и он скажет тебе со всею твердостью, что Бог, сотворивший человека, вложивший в него частицу собственного духа, бесконечно милостив и по смерти телесной оболочки забирает этот венец творенья в свое лоно. Отчего ты плачешь, могильщик? К чему проливаешь слезы, точно женщина? Не забывай: мы все - точно пассажиры носимого по бурному морю корабля со сломанными мачтами, мы все посланы в этот мир для страданий. И это честь для человека, ибо Бог признал его способным превозмочь жесточайшие страдания. Подумай и скажи, если ты не потерял дар речи, каковым наделены все смертные: когда бы на свете не было страданий, как ты желал бы, то в чем тогда заключалась бы добродетель - тот идеал, к которому мы все стремимся?

- Что со мною? Не стал ли я другим человеком? На меня повеяло покоем, освежающее дыхание взбодрило душу, подобно тому как весенний ветерок оживляет сердце дряхлых старцев. Кто этот незнакомец? Возвышенные мысли, чудный слог - все обличает в нем человека незаурядного! Какой чарующей музыкой звучит его голос! А речь краше песни. Однако же чем дольше я смотрю на него, тем менее искренним кажется его лицо. Есть что-то в нем, что странным образом противоречит смыслу произносимых слов, хотя, казалось бы, одна лишь любовь к Богу может внушить их. Оно прорезано глубокими морщинами, отмечено неизгладимым шрамом. Откуда этот не по возрасту старящий его шрам? Что это, почетное увечье или позорное клеймо? Почтения или презрения достойны его морщины? Не знаю и боюсь узнать. Но даже если он говорит не то, что думает, мне кажется, он это делает из благородных побуждений, движимый не до конца вытравленным из души состраданием к ближнему. Вот теперь он молчит, задумался - как знать, о чем? - и с удвоенным рвением предается непривычной тяжелой работе. Он весь в поту, но сам не замечает этого. Его снедает скорбь, с какою не сравнится даже та тоска, которая охватывает нас у колыбели спящего младенца. О боже, как он сумрачен. Откуда, незнакомец, ты

явился? Позволь, я до тебя дотронусь, стерпи прикосновение к твоей особе руки, так редко пожимавшей руки живых людей. Будь что будет, а я узнаю, с кем имею дело. Чудные волосы – лучшие из всех, каких когда-либо касались мои пальцы, уж в волосах-то я знаю толк, кто посмеет это оспаривать?

– Что тебе? Не видишь – я рою могилу. А беспокоить льва, пока он не насытится, не стоит. Запомни это впредь, коль не знал до сих пор. Ну хорошо, потрогай, если хочешь, но поскорее.

– Только живая плоть может так затрепетать от моего прикосновения, и, только прикоснувшись к живой плоти, мог бы так затрепетать я сам. Так, значит, он существует наяву... и я не сплю... Но кто же ты, прилежно роющий за меня могилу, пока я, словно дармоед, сижу без дела? В такой час люди спят, если только не жертвуют сном ради ученых штудий. И, уж во всяком случае, сидят по домам за крепко-накрепко, чтобы не влезли воры, запертыми дверями. Все затворяются в уютных спальнях, пока недогоревшие угли в старинных очагах расточают последний жар опустевшим гостинным. Но ты не таков, как другие, да и одежда твоя выдает пришельца из далеких краев.

– Рыть яму глубже уже нет нужды, правда, я совсем и не устал. Теперь раздень меня и уложи в эту могилу.

– Разговор, что ни миг, все чуднее, не знаю, что и отвечать... Верно, это шутка.

– Ну да, это шутка, не принимай моих слов за чистую монету.

Внезапно незнакомец рухнул наземь, могильщик бросился ему на помощь.

– Что с тобой?

– Да, я сказал неправду, будто не устал; на самом деле я очень утомился, потому и бросил заступ... ведь это первый раз я делал такую работу... не принимай же слов моих за чистую монету.

– Все больше утверждаюсь в мысли, что этот незнакомец мучится какой-то страшной тоскою. Но сохрани меня Бог расспрашивать его. Пусть лучше я останусь в неведении, мне слишком жаль его. Да он и сам, наверное, не пожелает отвечать: ведь раскрывать перед другим недуги сердца – значит терпеть двойную боль.

– Оставь меня, я покину кладбище и пойду своей дорогой.

– Ты едва стоишь на ногах, ты заблудишься в пути. Простая человечность велит мне предложить тебе мою постель – она груба, но другой у меня нет. Доверься мне, и я не стану домогаться твоей исповеди как платы за гостеприимство.

– О почтеннейшая вошь, о насекомое без крыльев и надкрыльев, когда-то ты горько укоряла меня за бесчувственность, за то, что я не оценил как должно твой тонкий, но скрытый ум, и, возможно, ты была права: вот и теперь ни малейшей благодарности не ощущаю я к этому малому. Звезда Мальдорора, куда ты поведешь меня?

– Ко мне. И кто б ты ни был: убийца с окровавленной десницей, которую не позаботился вымыть с мылом после злодеяния, и потому легко опознаваемый; или брат, погубивший сестру, или лишенный трона и изгнанный из своих владений монарх – мой воистину великолепный чертог будет достоин тебя. Пусть это всего лишь убогая лачуга, пусть ее не украшают алмазы и самоцветы, зато она славна своим великим прошлым, к которому что ни день прибавляются новые страницы. Умей она говорить, она поведала бы много такого, что даже тебя, отвыкшего удивляться, повергло бы в изумление. Сколько раз глядел я, прислонясь спиной к ее двери, как мимо проплывали гробы, и кости тех, кто в них покоился, в недолгий срок становились еще трухлявее, чем сама эта ветхая дверь. Число моих подданных все растет. Чтобы заметить это, мне нет нужды устраивать периодические переписи. А вообще здесь те же порядки, что и у живых: каждый платит налог сообразно с комфортабельностью жилища, которое занимает, а с неплательщиками я, согласно предписанию, поступаю как судебный исполнитель, ну а шакалов да стервятников, охочих до лакомого обеда, всегда предостаточно. Кого только не видел я среди рекрутов смерти: красавцев и уродов таких, что и при жизни были не краше, чем в гробу, – мужей и жен, вельмож и голытьбу, осколки юности и старческие мощи, глупцов и мудрецов, лентяев, тружеников, правдолюбцев и лжецов, смиренное кроткое, кичливую гордыню, порок, увенчанный цветами, и добродетель, втопанную в грязь.

– Что ж, твое ложе достойно меня, и я не откажусь провести на нем остаток ночи, пока не рассветет. Благодарю тебя за доброту... Мы восхищаемся при виде останков древних городов, но куда прекраснее, о могильщик, созерцать останки человеческих жизней!

(13) Брат кровопийц-пиявок тихо брел по лесу. Брел и останавливался – все хотел что-то вымолвить. Хотел, но не мог: только откроет рот, как горло его сжимается, и невыговоренные слова застревают на полпути. Но наконец он



вскричал: "О человек, если случится тебе увидеть в реке дохлую собаку с задранными лапами, которую прибило к берегу течением, не поступай, как все: не набирай в пригоршню червей, что кишат в раздутом песьем брюхе, не разглядывай их, не режь ножом на кусочки и не думай о том, что и ты в свое время будешь выглядеть не лучше этой падали. Какую великую истину ты хочешь обрести? Никто доселе не смог разгадать тайну жизни: ни я, ни ластоногий котик из Ледовитого океана. Опомнись – ка лучше, подумай: уже смеркается, а ты здесь с самого утра... Что скажут домочадцы, что подумает твоя сестренка, увидев, что ты возвращаешься в столь поздний час? Так что сполосни поскорее руки и поспеши туда, где ждет тебя ночлег... Но кто это, кто там вдали, кто смеет приближаться ко мне без страха, тяжелыми, нелепыми скачками, с исполненным величия и вместе с тем смиренья видом? И взгляд так кроток и так глубок! Огромные веки хлопают, как паруса на ветру, и, кажется, живут сами по себе. Что за неведомое существо? Гляжу в его чудовищные очи и содрогаюсь – а этого со мною не бывало с тех пор, как младенцем сосал я иссохшие груди несчастной, что звалась моею матерью. Ослепительный нимб озаряет это создание. А при звуках его голоса все вокруг трепещет и замирает. Тебя, как я вижу, влечет ко мне, словно магнитом – что ж, иди, препятствовать не стану. Как ты прекрасно! И как мне тяжело это признавать! Должно быть, ты обладаешь особой силой: у тебя не просто человечесье лицо, твое лицо печально, как мир, и заманчиво, как самоубийство. Но мне твой вид претит; когда судьба велела бы мне вечно носить на шее змею, от которой нет избавления, я все же предпочел бы глядеть на эту гадину, но только не в твои глаза!.. Пстой... Да это никак ты, жаба?! Злосчастная жирная гадина! А я тебя и не узнал, прости! Чего ради явилась ты на эту землю, населенную падшими грешниками? И как это ты ухитрилась стать такой пригожей, куда подевались твои противные мокрые бородавки? Я ведь видел тебя прежде: в тот раз ты по воле Всевышнего спустилась с небес, дабы служить утешением всем прочим тварям земным; слетела стремительно, как коршун, не утомив могучих крыльев в чудесном низверженье. Бедная жаба! В то время я много размышлял о вечности и о своем в сравненье с ней ничтожестве. И я подумал: "Вот еще одно существо, возвышенное Божиим промыслом над нами, прозябающими здесь. А я, почему я обойден? Отчего Господь распорядился так несправедливо? Или Он, всесильный, грозный во гневе, слаб рассудком? Ты, повелительница луж и болот, явилась облеченная почестями, какие подобают одному только Творцу, и внесла в мою душу хоть какое-то успокоение, но ныне твое величие ослепляет и парализует мой нетвердый разум! Скажи же, кто ты? Не исчезай, побудь здесь, на земле, еще немного! Сложи белоснежные свои крылья и не бросай нетерпеливых взглядов на небеса. Или, если уж ты улетаешь, возьми меня с собою!" Тут жаба села, поджав под себя мясистые ляжки – в точности такие же, как человеческие – и тотчас же все слизняки, мокрицы да улитки поспешно расползлись, завидев своего смертельного врага, – села и заговорила так: "О Мальдорор! Посмотри на мое лицо: оно безмятежно, как зеркало, да и умом я, верно, не уступлю тебе. Когда-то, давным-давно, ты назвал меня своей опорой в жизни. И с той поры я всегда оставалась достойной чести, которую ты мне тогда оказал. Конечно, я простая болотная тварь, но ты сам приблизил меня к себе, разум мой окреп, восприняв все лучшее, что есть в тебе, и потому сейчас я могу говорить с тобою. Я пришла помочь тебе выбраться из бездны. Все твои друзья – вернее, все, кто может считаться твоими друзьями, – с ужасом и отчаянием глядят на тебя всякий раз, сталкиваясь с тобою; в церкви ли, в театре или в ином людном месте, когда ты бредешь бледный и сторбленный, или на ночной улице, когда пронесишься мимо, в длинном черном плаще, похожий на призрака, бешено стиснув шпорами бока своего скакуна. Отринь же пагубные мысли, обратившие сердце твое в пепел. Твой рассудок поражен недугом, тем более страшным, что ты его не видишь и, когда из твоих уст исторгаются безумные, хотя и дышащие сатанинскою гордыней речи, полагаешь, что в них выражается твоя природная сущность. За свою жизнь ты произнес таких речей без счета, несчастный ты безумец! Жалкий остов бессмертного ума, некогда сотворенного Господом с такой любовью! Ты плодил одни лишь проклятья, кипящие яростью, точно оскал голодной пантеры. Я дала бы выколоть себе глаза, отрубить руки и ноги, я предпочла бы стать убийцей, кем угодно, только бы не быть тобою! Ты ненавистен мне. Откуда столько желчи? Да по какому праву ты сюда явился и поднимаешь на смех всех подряд, ты, жалкая гнилушка, неприкаянный скептик. Коль скоро все здесь тебе не по нраву, отправляйся туда, откуда пришел. Нечего столичному жителю слоняться по деревне – он там чужак. Известно же, что в надзвездных сферах есть миры куда обширней нашего, там обитают духи, чьи ум и знанья далеко превосходят наше скудное разумение. Вот туда и держи путь! Оставь нашу землю, где все так зыбко и шатко, прояви наконец свою божественную суть, которая дотоле оставалась втуне, и вознесись, да

поскорее, в свою стихию – завидовать тебе, гордецу, мы не станем; вот только я не разберу, кто же ты на самом деле: человек или существо высшей природы? Прощай же, и знай: сегодня ты повстречался с жабою в последний раз. Из-за тебя я гибну. Я удаляюсь в вечность и буду молиться о твоём прощенье".

(14) Что ж, по всей видимости – а видимость порою соответствует истине – первая песнь подошла к концу. Не будьте чересчур строги к тому, кто пока лишь пробует свою лиру, – так странен уху звук ее! И все же беспристрастный слушатель отметит в сей игре не только уйму недостатков, но и недюжинный талант исполнителя. Ну, а я засяду за работу, чтобы и вторая песнь вышла в свет без промедленья. Конец XIX века узнает своего певца (впрочем, первое его детище, натурально, еще не будет шедевром); того, что рожден на американском берегу, где берет начало Ла Плата, где живут два народа, прежде враждовавшие, ныне же старающиеся превзойти друг друга в духовном и материальном процветанье. Звезда юга Буэнос-Айрес и франт Монтевидео сердечно протянули друг другу руки через серебро аргентинских вод. Однако в деревнях по-прежнему бесчинствует война и пожирает, ликуя, все новые и новые жертвы. Прощай и думай обо мне, старик, ежели у тебя хватило духу дочитать мое творенье. Ты же, юноша, не падай духом – ведь в лице вампира ты, сам того не чая, обрел нового друга. Так что теперь, считая чесоточного клеща, у тебя их двое.

Песнь II

(1) Где побывала первая песнь Мальдорора с тех пор, как обзрев чертоги ярости, исторглась из его опьяненных белладонной уст? Где побывала?.. А в самом деле, где? Ни ветер, ни листья деревьев не помнят ее. Кажется, Добродетель встретила ее на пути, но, убоявшись ее огнедышащих строк, скользнула мимо, заметив лишь, что та, решительно ступая, устремилась к черным безднам и тайным извилинам душ. Несомненно одно: с ее появлением на свет Человек изменился: он ужаснулся, узрев свой жабий лик, он не хочет верить и беснуется что ни день в припадках звериной злобы. И, право, он не виноват. Испокон веков он жил замурясь, зарыв лицо в розанчики умильного смиренья и полагая, будто его душа – это море добра, и в нем лишь капля зла. А тут вдруг, разметав все покровы, я показал ему его нутро, оголил душу, и что же? – ему открылось море зла, и в нем лишь капля добра, да и та давно б уж растворилась, когда бы не усилия Закона. Спору нет, истина горька, однако же, стара как мир, и, обнаружив ее, я вовсе не желал, чтоб человек стыдился или терзался – чего стыдиться? – есть законы естества, и над ними мое желанье или нежеланье невластно. Раз я сорвал личину и обнажил спрятанную под нею харю, раз погубил все сладкие иллюзии, сломал их, как игрушки из смарагдов и жемчугов, так что с мелодичным звоном лопнули их серебряные пружинки, – возможно ль, чтобы Человек не дрогнул, остался спокоен и невозмутим, даже если бы рассудок его победил гордыню и упала пелена, веками застилавшая глаза? Неудивительно поэтому, что Мальдорор был встречен бурей злобных криков, стонами, воем и скрежетом зубовым – еще бы: ополчась на целый род людской, он разрушил бастионы филантропической трухи, которой до отказа набиты лучшие созданыя мировой литературы (признаться, порою я и сам, хотя и вопреки рассудку, не прочь ими потешиться: они бы были уморительно смешны, когда б от них не делалось так тошно). Но пронять моего героя не так легко, он, все видящий заранее, иного и не ожидал. Наивный Человек! Ты воздвиг бумажный храм из дряхлых фолиантов, украсив его фронтом изваяньем Добродетели, – но это зыбкое убежище. Мой Мальдорор – алмазный меч! Ты гол пред ним, как червь! Оставь кичливые повадки и горделивый тон: тебе уж не помогут ни гордыня, ни смиренье; коли тебе угодно, пожалуй, вот я сам простерся ниц и заклинаю: запомни, крепко-накрепко запомни то, что я сейчас скажу! Знай: есть некто, зорко наблюдающий за каждым шагом твоей греховной жизни, и из тенет его зловещей прозорливости не вырваться! Пусть он не смотрит, пусть он спит – остерегайся, он зрит и видит, он видит все! Ни доблесть, ни отвага – ничто не защитит тебя от коварной хитрости того, кто порожден моим воображеньем! Он бьет без промаха!

И все же прими к сведению: разбойники и волки никогда не убивают своих сородичей – такое у них не в обычае. А посему не бойся за свою жизнь: в его руках она будет в безопасности, он даже в некотором роде станет опекать

тебя. Конечно, не затем, чтобы усовершенствовать – хоть бы он клялся в этом, не верь! – он равнодушен ко всем на свете, да и это лишь полуправда, выговорить же всю правду мне неостанет духу и не позволит милосердие. Нет, расточая злодеянья, он развратит тебя, так что в порочности ты сравнишься с ним самим, и вместе с ним, когда настанет срок, будешь низринут в бездну преисподней. Давно уж лязгает цепями и ждет его в аду стальная виселица. Когда же наконец судьба моего героя свершится, он станет самой лакомой добычей для адской пасти и обретет достойное себя пристанище. Уф, ну вот, кажется, я ни разу не сбился с отеческого тона, и, стало быть, Человеку не к чему будет придраться.

(2) Грядет вторая песнь... скорее... вот перо, что вырвано из крыл стервятника или орлана жадного*. Но... что это? Я не могу писать... застыла рука, онемели пальцы... О ужас! Но я хочу, я желаю, я, наконец, имею право, как каждый смертный, писать, что вздумается. Ну же!.. Нет, перо ни с места... Между чем вдали, над горизонтом, заблестали зарницы. Гроза. Все ближе, ближе... Закапал дождь... Полил... Не молкнет гром. Разверзлись хляби! В открытое окно вдруг полыхнула молния – удар! – и я повержен. Несчастный! Ты и без того был уродлив, ранние морщины не красили твое лицо, теперь же прибавится еще и этот длинный багровый шрам. (И то лишь в случае благополучного заживления раны, что будет весьма не скоро!) Что значит эта буря и сковавший мои пальцы паралич? Предупреждение свыше, чтобы я поостерегся писать и понял, что мне грозит, коли не иссякнут потоки яда, реки желчи, струящиеся из моих разверстых уст? Меня пугать грозой? Да пусть гром и молния испепелят всю землю – я не боюсь! Божьи жандармы не жалеют рвенья, рука Владыки тверда, он метил в середину лба – и вот лицо рассечено надвое. Увы, не мне хвалить его за меткость! Но это огненное покушение – признание моей силы. О гнусный Вседержитель, коварный змей, ты проявляешь нетерпенье, ты устал ждать, пока безумие и кошмары подточат мою жизнь, ты алчешь крови!.. Что ж, воля твоя. Но, не в обиду будь тебе сказано, к чему все это? Или для тебя новость, что я не люблю, а вернее, ненавижу тебя? Чего ты хочешь? Когда тебе наскучат все эти причуды? Неужто же, скажем по-дружески, ты сам не видишь, до чего смешно капризное упорство, с каким ты измышляешь мне все новые кары? Твои же собственные слуги, все до последнего серафима, отлично это понимают, да только молчат из страха и почтения. Что за необузданность, право? Я был бы тебе весьма признателен, если бы ты избавил меня от этих своих нелепых вспышек. Сюда, Султан, а ну-ка, подлижи: пол залит кровью. Вот и повязка готова: рана промыта соленой водой, крест-на-крест бинты на лице. Пролилось море, море крови, но ведь и море не безбрежно, пара платков да две пары рубах впитали его без остатка. Кто б мог подумать, что в жилах Мальдорора столько крови, не о нем ли говорили: бескровный, как мертвец. А вот поди ж ты... Зато теперь я, кажется, и вправду обескровлен. Эй, ненасытный пес, довольно, твоя утроба переполнена. Остановись, не то тебя стошнит той кровью, что ты наакался. Ты проглотил столько красных и белых шариков, что теперь можешь три дня валяться в конуре да наслаждаться сытостью и негой, не утруждая себя заботой о пропитанье. Ты же, Леман, берись за швабру – я бы взялся и сам, но увы! Ты видишь: я без сил... Да ты никак собрался плакать? Вон и слезы навернулись – так пусть вернуться назад, или ты так слаб, что не можешь и глядеть на мой рубец, да полно, все позади, бездна времени поглотила все муки. Так вот, поди к колодцу да принеси два ведра воды. Вымоешь пол, а всю одежду снесешь в другую комнату. Вечером должна явиться за бельем прачка – ей все и отдашь, а впрочем, нынче она вряд ли придет, дождь так и хлещет, ну, тогда отдашь завтра утром. А ежели спросит, откуда столько крови, так ты вовсе не обязан отвечать. Ах, как я слаб... Но у меня еще достанет сил держать перо, достанет духу мыслить. Так стоило ль, Творец, страшать меня, как малое дитя, твоими громами и молниями? Намеренье мое непоколебимо, я решил писать и не отступлюсь. Нелепая повязка на лице да запах крови – таков итог твоих усилий.

(3) Да не придет тот день, когда, повстречавшись в толпе на улице, мы с Лоэнгрином, как чужие, безучастно разойдемся! О нет! Не хочу и думать, что такое может сбыться! Всевышний сотворил мир таким, каков он есть, но было бы весьма похвально, когда бы Он хоть на краткий миг, такой, к примеру, чтоб успеть взмахнуть дубиной и снести голову какой-нибудь несчастной, – забыл о своем самодержавном величье и поведал о тайных пружинах, управляющих жизнью, в которой все мы, люди, бьемся, подобно сваленным на дно рыбацкой лодки рыбам. Но Он велик, высок, недосягаем. Его помыслы куда как превосходят наше разуменье, и если бы мы вдруг удостоились Его беседы, то нас испепелил бы



жгучий стыд, – так мы ничтожны рядом с Ним... И что же, преступный Властелин, ты, не моргнув глазом, все это выслушаешь и не покраснеешь? Не ты ли сам обрек свои творенья на жизнь в пороке и страданье, в убожестве и нищете? Да еще и трусливо утаил причину, почему ты их так обездолил. Пути Господни неисповедимы? О, только не для меня, я знаю Его слишком хорошо. Не хуже, чем Он меня. Если наши дороги скрестятся, Он, издали приметив меня своим зорким оком, поспешно свернет в сторону из страха перед разящим жалом с тремя стальными остриями – таков мой язык, мое природное оружие! Так сделай милость, Владыка, дай мне излить душу. Я стану осыпать тебя язвительными, ледяными насмешками, и знай, пока не оборвется нить моей жизни, не истощится и их запас. Под мощными ударами затрещит твой хрупкий панцирь, идол, и я сумею выжать из тебя по капле всю мудрость, которой ты не пожелал наделить человека, убоившись, что он станет равным тебе.словно презренный вор, ты схоронил сокровища, запрятал их в своей утробе. Но разве ты не ведал, что рано или поздно я проникну не знаящим преграды взором в твой тайник и извлеку все спрятанное там добро, чтобы раздать его моим духовным братьям? Я так и поступил, и ныне сии избранники не уступают тебе в мощи и взирают на тебя без трепета. Так покарай же меня скорее, убей за дерзость: вот грудь моя, я смиренно жду, рази! Где обветшалый арсенал загробных мук? Где жуткие, стократ описанные с леденящим душу красноречием орудия пытки? Смотрите все, я богохульствую, я глумлюсь над Господом, а он не властен убить меня! Меж тем, кому же неизвестно, что порой из прихоти, безвинно, умерщвляет он юношей во цвете лет, едва вкусивших прелести жизни! Жестокость, вопиющая жестокость – по крайней мере, таково суждение моего далекого от совершенства разума. И разве на моих глазах Всеблагий Господь, теща бессмысленную свою свирепость, не поджигал дома и не злорадствовал, глядя, как гибнут, объятые пламенем, грудные младенцы и дряхлые старцы? Не я пошел войной на Бога, зачинщик он, и если ныне я вооружился стальным хлыстом, и стегаю обидчика, и заставляю его вертеться волчком в бессильной злобе, то виноват он сам. Моя хула – лишь плод его деяний. Так пусть же не остынет пыл! Вовек не погаснуть вулкану моего негодованья, в котором клокочут чудовищные виденья бессонных ночей. Впрочем, вся эта тирада была навеяна мыслями о Лознгрине – вернемся же к нему. Поначалу, опасаясь, что он со временем станет таким же, как прочие люди, я было решил зарезать его, как только он минует возраст детской невинности. Однако, поразмыслив, в последний момент отказался от этого плана, Лознгрин и знать не знает, что жизнь его целых четверть часа висела на волоске. Ведь все уже было готово, даже оружие куплено. Узенький – ибо я ценю красоту и изящество во всем, не исключая орудий убийства, – но зато длинный и острый кинжал. Один точный удар в шею – главное, попасть в сонную артерию – и все было бы кончено. Но я рад, что передумал, иначе позже пожалел бы о содеянном. Живи же, мой Лознгрин, от жалких пут свободен будь, ты один себе господин. Хочешь – вырви мне глаз и растопчи ногами, хочешь – стной в застенке с крысами и пауками. И я не возропщу, я отрекаюсь от себя, я твой и только твой. С восторгом приму я от тебя любую пытку, когда подумаю, что эти руки, терзающие, рвущие меня на части, принадлежат тому, кого я сам избрал и приобщил к неизвестным другим смертным дарам, которые вознесли его над толпою сородичей. Погибнуть ради ближнего и впрямь прекрасно; умирая, я обрету веру в людей: быть, может, они не так уж плохи, коль скоро нашелся среди них такой, что смог насильно побороть мои предубеждения, заставить меня самого ужаснуться и вызвать мой восторг и лютую любовь!..

(4) Полночь, от Бастилии до самой церкви Магдалины ни одного омнибуса. Ни одного... – но вот, будто внезапно вынырнув из-под земли, показался один экипаж. Ночных прохожих мало, но каждый непременно обернется и посмотрит вслед – так странен он. У пассажиров на империале* глаза мертвых рыб, взор неподвижен, незряч. Они сидят, тесно прижавшись друг к другу, – хотя их не больше, чем положено, – и совсем не похожи на живых людей. А когда взлетает над лошадиными спинами кнут, кажется, не рука кучера поднимает кнутовище, а кнутовище тянет за собою руку. Сонм загадочных безмолвных существ – кто они? Лунные жители? Возможно... но больше всего они напоминают мертвецов. Спеша прибыть к конечной станции, несется вихрем омнибус, и мостовая стонет. Все дальше, дальше! А сзади, в клубах пыли, мучительно, но тщетно стремясь догнать, бежит, трепещет тень. "Остановите, умоляю, стойте! Я голоден... у меня в кровь разбиты ноги... меня бросили родные... я пропаду... я хочу домой... остановите, позвольте сесть, мне не дойти пешком... я малое дитя, мне только восемь лет... я так на вас надеюсь..." Мчит омнибус! Все дальше, дальше... А сзади, в клубах пыли, мучительно, но тщетно стремясь догнать, бежит, трепещет тень. Один из хладноглазых седоков империала толкает в бок

другого, давая знать, как ему досаждают и как беспокоит его слух этот пронзительный, молящий, как серебро звенящий голос. Сосед слегка кивает и вновь впадает в самовлюбленное оцепенение, подобно тому, как черепаха заползает в свой панцирь. Лица прочих пассажиров выражают полное согласие с ними. А крики, один отчаянней другого, все не смолкают. В домах на бульваре распахиваются окна, вот высунулся кто-то с фонарем, опасливо глянул на улицу и тут же наглухо захлопнул ставни и исчез... Мчит омнибус! Все дальше, дальше... А сзади, в клубах пыли, мучительно, но тщетно стремясь догнать, бежит, трепещет тень. Среди окаменелых пассажиров лишь один забывшийся в мечтаньях юноша очнулся и как будто тронут чужим страданьем. Но заступиться за ребенка, который бежит, преодолевая боль в истерзанных ногах, бежит, простодушно надеясь, что его услышат, что он догонит омнибус, - заступиться за него юноша не сможет, он видит, как надменны и презрительны устремленные на него взоры спутников, он знает: один против всех бессилён. Обхватив голову руками, с горестным недоумением он думает: "Неужели вот оно, то, что зовется людским милосердием?" И постигает, что милосердие - один лишь пустой звук, одно лишь вышедшее из употребления, забытое даже поэтами слово; и понимает, как заблуждался прежде. "Зачем огорчаться из-за какого-то ребенка? Что мне за дело до него?" - кощунственно подумал он, но в тот же миг по щеке его скатилась горячая слеза. В досаде он провел ладонью по лицу, как будто стараясь прогнать облачко, замутняющее трезвость рассудка. Он силится приноровиться к веку, в который забросила его судьба, но это напрасный труд: здесь все ему чуждо, и он всем чужд, а вырваться из времени не дано. Постылый плен! Злосчастный жребий. Что ж, Ломбано, отныне я тобой доволен. Я здесь, рядом с тобой, сижу среди этих мертвых пассажиров, на вид такой же истукан, но неотступно за тобой наблюдаю. Вот ты вскочил, поддавшись возмущению, рванулся прыгнуть, чтоб не участвовать, хотя бы и невольно, в постыдном деле. Но стоило мне шелохнуться, подать едва заметный знак - и ты покорно опускаешься на место, мы снова рядом... Мчит омнибус! Все дальше, дальше... А сзади, в клубах пыли, мучительно, но тщетно стремясь догнать, бежит, трепещет тень. Вдруг крик оборвался: дитя споткнулось о булыжник и падает на мостовую, голова в крови. А омнибус уж скрылся. Он мчит! Все дальше, дальше! Но тени той, бежавшей сзади, в клубах пыли, мучительно, но тщетно стремясь догнать, уж нет. Смотрите - по улице, согнувшись над убогим фонарем, бредет старьевщик, и он куда великодушнее своих собратьев, что умчались, прочь. Он подобрал ребенка, он непременно выходит его, не бросит, как бросили жестокие родные. Мчит омнибус! Все дальше, дальше... Но взгляд старьевщика, пронзительный, как вопль, летит за ним, сквозь клубы пыли, не отставая... Тупоголовый род кретинов! Ты мне за все, за все ответишь! Ты пожалеешь! Помни мое слово... Пинать, дразнить, язвить тебя, о человек, тебя, хищная тварь, тебя и твоего Творца, за то что породил такую скверну, - лишь в этом суть моей поэзии. Все будущие книги, все до последней, множество томов, я посвящаю сей единственной цели и останусь верен ей, пока дышу!

(5) В той узкой улочке, по которой одно время я ежедневно проходил, отправляясь на прогулку, меня каждый раз поджидала стройная девочка лет десяти и, дав мне отойти, шла следом, не сокращая расстояния, но и не спуская с меня горящих любопытством глаз. Для своих лет она довольно высока, изящна станом. Густые черные волосы разобраны на прямой пробор и заплетены в две тяжелые косы, падающие на мраморной белизны плечи. Однажды, когда она, по своему обыкновению, шла за мною следом, на нее внезапно набросилась какая-то простолюдинка, жилистою рукою схватила ее за косы, отхлестала по щекам и потащила домой, точно заблудшую овцу, а девочка гордо молчала. Изо дня в день повторялось одно и то же: я делал вид, что не замечаю ее, а она неотвязно шла за мной по пятам. И лишь когда я сворачивал с той узкой улочки в другую, она заставляла себя остановиться и, застыв на перекрестке, как статуя Безмолвия, глядела мне вслед, пока я не скрывался из виду. Но вот как-то раз знакомая фигурка возникла не сзади, а впереди. Если я, желая обогнать ее, шел быстрее, она чуть не бежала, лишь бы сохранить разделявшую нас дистанцию, если же замедлял шаг, чтобы приотстать, она с трогательной юной грацией принималась шагать так же медленно. Дойдя до самого конца той узкой улочки, она помедлила, потом обернулась и встала, преградив мне путь. Деваться было некуда, я подошел вплотную. Глаза ее, заплаканные, покрасневшие, глядели прямо на меня. Она явно хотела заговорить со мною, да не знала, как. В конце концов, смертельно побледнев, она пролепетала: "Пожалуйста, скажите... который час...". В ответ я бросил, что не ношу часов, поспешно проскользнул мимо нее и быстро зашагал прочь. О дитя, как рано проснулось в тебе страстное воображение, но с тех пор уже ни разу ты не видала юношу с печатью тайны на челе, ни разу не слышала его тяжелых, гулких



шагов в той узкой улочке... И никогда больше, сколько бы ты ни ждала, не поразит твой взор эта огненная комета, зато еще долго, быть может, до самой смерти ты будешь вспоминать о том, кто брел по миру, неприкаянный и равно чуждый и добру и злу; ты навсегда запомнишь его пугающее, бледное лицо, его вздыбленные волосы, его нетвердую поступь и эти руки, что вслепую разгребают насмешливые волны мирового эфира, тщетно пытаюсь ухватиться за спасительную надежду, ту самую, чьи кровавые останки неумолимый рок влечет своим багром все дальше, вглубь, в необозримое пространство. Итак, ты больше не увидишь меня, а я не увижу тебя! Но... как знать?.. эта дева, возможно, вовсе не такова, какой казалась. Возможно, под внешностью наивной крошки таилась притягательно-порочная притворщица лет восемнадцати. Разве мало жриц любви весело перепорхнуло к нам через Ла-Манш с Британских островов? Сияющим златокрылым роем слетелись они на свет парижских фонарей. Таковую встретишь и подумаешь: "Да это же совсем ребенок, лет десяти-двенадцати, не больше". И ошибешься: ей все двадцать. О, если так, если и она... да будет проклято все, что творится в той узкой улочке. И не за то ли мать побила дочку, что та нерасторопна и плохо знает ремесло? Чудовище, не мать! А если дочь и впрямь еще ребенок, то эта мать вдвойне преступна! Но полно, быть может, предположение неверно, и, право, мне куда приятней думать, что пробудил первые смутные порывы страстной натуры. Послушай же, дитя, если когда-нибудь впредь мне случится пройти той узкой улочкой, не попадайся на моем пути, берегись! Ты можешь дорого за это поплатиться! И так уж кровь закипает в моих жилах и ненависть застилает глаза. Возможно ли, чтобы я проникся любовью и жалостью к человеческому существу? Да никогда! Едва появившись на свет, я поклялся в вечной ненависти к людям. Ибо они ненавидят меня! Скорее перевернется мир, скорее горные кряжи сдвинутся с места и лебедями поплывут по лону вод, чем я оскверню себя прикосновеньем к человеческой руке. Горе тому, кто мне ее протянет! И ты, дитя, увы, не ангел, а человеческая дочь, и рано или поздно станешь такою же, как все. А потому держись подальше от моих хищно сощуренных сумрачных глаз. Ведь я могу, не ровен час, поддаться искушенью, схватить твои руки и скрутить их, как прачка скручивает белье, или разломать на куски, так что кости затрещат, словно сухие сучья, и заставить тебя разжевать и проглотить эти куски. Могу обхватить ладонями твоё лицо, как будто бы лаская, и вдруг железными ногтями продавить твой хрупкий череп, зарыться пальцами в нежнейший детский мозг и смазать эту целительную мазью свои воспаленные вечной бессонницей глаза, Или шить твои веки тонкой иглою, так что мир для тебя погрузится во тьму и ты не сможешь ступить ни шагу без поводья - и уж не я им буду! Или, мощно рванув, раскрутить тебя за ноги, точно прашу, и со всего размаху швырнуть в стену. Брызнут во все стороны капли невинной крови, и каждая, попав на человеческую грудь, останется на ней несмываемым алым пятном - сколько ни три, хоть вырви лоскут кожи, все равно вновь и вновь проступил на том же месте, горя рубиновым огнем. Что же до твоих останков, то, не тревожься, я буду почитать их как святыню, приставлю полдюжины слуг оберегать их от кощунственных покушений голодных псов. Почти излишняя предосторожность, ибо от такого удара тело расплющится о стену, как спелая груша, и не упадет на землю, а прилипнет, однако же собаки, как известно, способны иной раз подпрыгнуть на изрядную высоту.

(6) Какой прелестный мальчик - вон там, на скамье Тюильрийского сада! Ясный взор устремлен куда-то вдаль, как, будто он разглядывает что-то, невидимое для других. Ему всего лет восемь, но он не играет, как все дети. Не бегают и не резвятся с другими мальчуганами: как видно, ему больше по нраву сидеть в сторонке одному.

Какой прелестный мальчик - вон там, на скамье Тюильрийского сада! Но вот к нему подсел какой-то странный господин. Что ему нужно? Кто он? Впрочем, называть нет нужды - вы и сами тотчас его признаете по ядовито-вкрадчивым речам. Не станем же мешать, послушаем их разговор.

- О чем ты думаешь, малыш?

- О небе.

- Вот еще. Нужно думать о земле, а не о небе. Или ты, совсем младенец, уже устал от жизни?

- Нет, но ведь небо лучше земли, так все говорят.

- Только не я! Один и тот же Бог сотворил и землю, и небо, а значит, там ты найдешь те же изъяны, что и здесь. Не надейся, что будешь после смерти вознагражден за свои заслуги: ибо если приходится терпеть несправедливость здесь, на земле, - а в этом ты очень скоро убедишься на собственном опыте, - то нет причин полагать, будто не придется терпеть ее и на том свете. Лучшее, что ты можешь сделать, - это не уповать на Бога, а

добиваться самому того, что тебе причитается по праву, но в чем тебе отказано. Вот, например, когда кто-нибудь из приятелей обидит тебя, разве тебе не хочется его убить?

- Но убийство - страшный грех!

- Ну, не такой уж страшный. Просто не надо попадаться. Права и запреты, установленные законом, ничего не значат. Обида диктует свое право. Подумай: если ты возненавидишь этого своего приятеля и станешь все время думать о нем и воображать его себе, ты будешь страдать, не так ли?

- Так.

- И тебе придется страдать всю жизнь, потому что ты убедишься, что хоть и ненавидишь его, но ничего ему не сделаешь, и он так и будет безнаказанно издеваться над тобой и мучить тебя. Значит, есть только один способ все это прекратить: избавиться от мучителя. Это я и хотел тебе доказать, чтобы ты понял, каковы на самом деле основы общества. Каждый, у кого есть голова на плечах, вершит правосудие сам. Кто всех сильнее и хитрее, тот и возьмет верх над другими. А ты хочешь иметь власть над людьми?

- О, да.

- Ну, так стань хитрее всех. Ты еще мал и не можешь стать самым сильным, но хитрость, излюбленное оружие лучших умов, тебе вполне по плечу. Вспомни пастушка Давида, поразившего великана Голиафа камнем из пращи; одной только хитростью он и одолел противника, а схватись они врукопашную, великан раздавил бы его, точно муху. Это тебе пример. В открытом бою ты не осилишь тех, кого желаешь подчинить себе, хитростью же сможешь успешно воевать один против всех. А ведь ты хочешь обладать богатством, славой, красивыми дворцами? Или ты лжешь, когда говоришь о своих великих притязаниях?

- Нет-нет, я не лгу. Но я хотел бы достигнуть всего этого другими средствами.

- В таком случае ты вообще ничего не достигнешь. Честные и чистые средства никуда не годятся. Нужны рычаги помощнее, силки понадежнее. Пока ты будешь идти к славе дорогой добродетели, тебя обскочат сотня хитрецов, так что к тому времени, как ты, со своей щепетильностью, доберешься до цели, тебе попросту некуда будет втиснуться. В наше время надо смотреть на мир шире. Взять хоть великих полководцев - тебе, конечно, известно, какие почести воздаются славным победителям. Но победы не приходят сами по себе. Чтобы одержать победу и насладиться ею, нужно пролить кровь, много крови. Устраивается бойня но всем правилам, после которой на полях остаются груды трупов, разорванные на куски тела... - без этого не бывает войны, а без войны не бывает побед. Выходит, чтобы прославиться, надо сначала, не дрогнув, искупаться в крови, которая рекою льется при разделке пушечного мяса. Цель оправдывает средства. Так вот, тому, кто хочет славы, прежде всего понадобятся деньги. У тебя их нет, значит, надо кого-нибудь прикончить, чтобы раздобыть их. Но поскольку ты еще мал и слаб, чтобы орудовать кинжалом, с этим придется повременить, а пока научись воровать. Ну, а для того чтобы мускулы твои поскорее окрепли, советую каждый день заниматься гимнастикой, час утром и час вечером. Тогда ты сможешь испробовать себя в убийстве не в двадцать, а, скажем, в пятнадцать лет. Жажда славы оправдывает все, к тому же, когда ты наконец станешь повелевать людьми, ты, может быть, сделаешь им столько же добра, сколько когда-то причинил зла.

И видит Мальдорор: у мальчика раздулись ноздри, губы подернулись белою пеной, в висках застучала кровь. Он щупает ребенку пульс и слышит, как неистово бьется сердце. Нежное тельце дрожит в лихорадке. И, опасаясь, как бы действие его слов не оказалось чересчур сильно, злодей уходит, досадуя, что не удалось поговорить с мальчуганом подольше. Бедный малыш! И в зрелые лета бывает нелегко усмирить голос страстей и, устояв перед искушением, не поддаться злу; каких же усилий стоит это ему, еще совсем неопытному в жизни! После такого потрясения он сляжет дня на три в постель. И дай-то Бог, чтобы материнские ласки отогрели этот хрупкий цветок и вернули покой и мир невинной душе.

(7) В лесу, на цветущей поляне, забылся сном гермафродит, и, словно росой, омочена его слезами трава. Пробиваясь сквозь толщу облаков, луна ласкает бледными лучами юное и пригожее лицо спящего, лицо, в котором мужественной силы столько же, сколько девической кротости. Все несуразно в этом существе: крутые мускулы атлета не украшают тело, а грубыми буграми нарушают плавную округлость женственных линий. Одной рукою он прикрыл глаза, другую прижал к груди, будто хочет унять надрывное биенье сердца - тяжкая вечная тайна гнетет его, оно переполнено и не может излиться. Прежде он жил среди людей, мучительно стыдясь того, что он иной чем все, урод, и наконец

отчаялся, не вынес и бежал, и ныне он бредет по жизни в одиночестве, как нищий по большой дороге. Вы спросите: чем же он живет, как добывает пропитание? Что ж, мир не без добрых людей, не все его покинули, - и кое-кто, хоть он о том не ведаёт, любовно заботится о нем. Да и как его не любить: ведь он так незлобив и так смиренен. Порою он не прочь поговорить с сердечным человеком, но избегает всякого прикосновенья и держится всегда поодаль. Однако спроси кто-нибудь, почему он избрал удел отшельника, о, оставит неосторожный вопрос без ответа и лишь обратит взор к небесам, еле удерживаясь, чтобы не заплакать от обиды на Провидение Господне, - и белые лепестки его век окрасятся в цвет алой розы. А если собеседник не отступится, гермафродит забеспокоится, начнет тревожно озираться, словно учуяв приближенье невидимого врага и ища, где бы скрыться, и, наконец, наспех простившись, устремится в чашу леса, гонимый растревоженной стыдливостью. Не мудрено, что его принимают за сумасшедшего. И вот однажды за ним послали четверых стражников в масках, которые набросились на него и крепко-накрепко скрутили веревками, оставив свободными только ноги, чтобы он смог идти. Уже обожгла его плечи ременная плеть, и прозвучали окрики - стражники приготовились гнать его в Бисетр*. Но он лишь улыбнулся в ответ на удары и заговорил со своими мучителями, обнаружив редкостную глубину ума и чувства: познания его в самых разных науках были поразительны для незрелого юноши, а рассуждения о судьбах человечества возвышенны и поэтичны. И стражники ужаснулись содеянному, тотчас развязали опутывавшие его веревки и бросились ему в ноги, умоляя о прощении, и, прощенные, ушли, высказывая знаки столь восторженного преклонения, какого мало кто из смертных удостоивается. Когда случай этот получил огласку, секрет гермафродита был разгадан, но, дабы не усугублять его страданий, никто ему об этом не сказал, а власти назначили ему немалое пособие, желая загладить свою вину и заставить его забыть о том прискорбном дне, когда его едва не засадили в сумасшедший дом. Из этих денег лишь половину он берет себе, остальное же раздает бедным. Случись гермафродиту увидеть где-нибудь в густой тени платанов гуляющую пару, как с ним происходит нечто ужасное, словно два разных существа, обитающие в нем, раздирают его на части: одно горит желанием заключить в объятия мужчину, другое столь же страстно вожделеет к женщине. И хоть усилием разума он быстро усмиряет это безумие, но предпочитает избегать любого общества: и мужского и женского. Он стыдится своего уродства, стыдится чрезмерно, так что не смеет ни к кому питать сердечной склонности, убежденный, что это осквернило бы и самого его, и того, кто ему мил. "Пусть лучше каждый следует своей природе", - неустанно твердит ему гордость. Из гордости не хочет он соединить свою жизнь ни с одним мужчиной и ни с одной женщиной, боясь, что рано или поздно его попрекнут страшным его изъязном и вменят в вину то, над чем он не властен. И хотя этот страх не более, чем собственный его домысел, но и воображаемая обида терзает его самолюбие. Вот почему, страждущий и безутешный, он так упорно сторонится всех людей. В лесу, на цветущей поляне, забылся гермафродит, и, словно росой, омочена трава его слезами. С ветвей деревьев замороженно, забыв про сон, глядят на скорбный лик дневные птицы, а соловей не начинает своих хрустальных трелей, чтоб не разбудить его. Безмолвный ночной лес над распростертым телом подобен торжественному сводчатому склепу. Тебя же, путник, что забрел сюда ненароком, молю: ради всего, что свято для тебя: той страсти к приключеньям, что заставила тебя еще ребенком бежать из-под родительского крова; тех страшных мук, которые ты претерпел в пустыне, томясь от жажды; ради давно покинутой отчизны, которую ты, неприкаянный изгнанник, хотел бы обрести в чужих краях; ради верного скакуна, делившего с тобой все тяготы странствий, выносившего непогоду всех широт, куда только ни гнал тебя твой неумный нрав бродяги; ради той особой, невозмутимой стойкости, которая приобретается в скитаниях по дальним странам и по неизведанным морям, среди полярных льдин и под палящим солнцем, - молю тебя, не тронь волос гермафродита, пусть прикосновение твое легче ветерка, все равно, остановись, не тронь его волос, что буйно разметались по траве и золотом вплелись в ее зеленый шелк. О, будь благочестив, остановись, отступи. Касаться этих прядей нельзя - таков зарок гермафродита. Он пожелал, чтобы никто из живущих на земле не прижимал к восторженным губам его кудрей, овеванных дыханьем горных высей, никто не лобзал его чистейшее чело, сияющее здесь, во мраке, подобно звезде в небесах. Или и впрямь одна из звезд, сойдя со своего извечного пути, спустилась с неба на прекрасный лоб гермафродита и лучистым нимбом увенчала его голову. Он - само целомудрие, он точно безгрешный ангел, и даже угрюмая ночь смягчается и хочет приглушить шум и шелест мошкары, оберегая его сон. Густые ветви сомкнулись над ним, словно долог, защищая от росы; ветер перебирает струны своей сладкозвучной



арфы и стройными аккордами ласкает слух спящего, ему же мнится, будто он внимает музыке небесных сфер. Гермафродиту снится, что он счастлив, ибо стал таким, как все люди, или перенесся на багряном облаке в мир, который населяют существа, подобные ему. Это сон, только обманчивый и сладкий сон, так пусть продлится он до самого утра. Гермафродиту снится, будто пестрые хороводы цветов кружатся вокруг него в пленительном танце и изливают на него потоки упоительных ароматов, а он поет гимн любви и держит в объятиях прекраснейшее существо на свете. Но увь! едва развеются вместе с утренним туманом грезы, едва проснется он, как увидит, что руки его сжимали призрак, пустоту. Так спи же, спи, гермафродит! Не просыпайся, умоляю... Пусть дольше длится сон, пусть длится вечно... Видения несбыточного счастья вздымают грудь, да будет так... Не открывай же глаз, не просыпайся, я не хочу! Дай мне уйти, пока ты спишь. Быть может, когда-нибудь я напишу о тебе большую волнующую повесть, расскажу со всеми раздирающими душу подробностями о горестной твоей судьбе и не премину присовокупить назидательные выводы. До сих пор же мне ни разу не удалось довести это дело до конца: едва приступлю, и из глаз неудержимо льются на белый лист бумаги слезы, и пальцы дрожат, как у немощного старца. Но я должен, должен набраться духу. Такая слабость простительна женщине, мне же не пристало, точно барышне, лишаться чувств при мысли о твоих страданиях. Спи, спи, гермафродит... Не открывай покуда глаз... Прощай, гермафродит! Каждый день стану я молить о тебе Господа (чего ни за что не стал бы делать ради себя самого!). Да обретешь ты наконец успокоенье!..

(8) Лишь только слуха моего коснется голос – хотя бы даже серебристые колоратуры небесного сопрано, чистейшая гармония, изливающаяся из человеческих уст, – все равно, бешеные языки пламени сей же миг начинают плясать перед глазами, оглушительная канонада – грохотать в ушах. Откуда эта исступленная ненависть ко всему человеческому? Будь те же созвучья извлечены из струн или клавиш – и я вожделенно ловил бы волшебные ноты, нанизанные, будто перлы, на мелодическую нить, что мерными извивами змеится по упругим воздушным волнам. По жилам разлилась бы сладкая истома, блаженный дурман усыпил бы волю и сковал мысли, подобно тому как туманное марево застилает яркий свет солнца. Мне рассказывали, что я родился на свет глухим. В плену у глухоты прошли мои первые годы, так что я не слышал человеческой речи. Правда, говорить меня научили, хотя и с большим трудом; но чтобы понять собеседника, я должен был прочитать то, что он напишет мне на бумаге, и только тогда мог ответить. Так было, пока не настал злосчастный день. К тому времени я уже достиг отроческого возраста, был чист, хорош собою и восхищал всех умом и добросердечием. Ясное лицо мое отражало свет непорочной души и приводило в смущение тех, у кого запятнана совесть. С благоговением взирали на меня люди, ибо моими глазами на них глядел ангел. Однако же я знал, что не всегда мое чело, что так любили с материнской нежностью лобзать все женщины, будет увито цветами юности – они завянут вместе с быстротечною весною жизни. Порою даже мне приходило на ум, что этот мир и этот купол неба, усеянный дразняще недоступными звездами, быть может, не столь и совершенны, как мне мнилось. И вот настал злосчастный день. Однажды, устав карабкаться по кручам и плутать, утратив правый путь* в темных лабиринтах жизни, я поднял истомленные, с кругами синевы, глаза на вечный небосвод, – я, юнец, дерзнул проникнуть в тайны вселенной. Но взор мой встретил пустоту. Объятый ужасом и дрожью, я заглядывал все глубже, глубже и наконец увидел... Увидел весь покрытый золотом трон из человеческого кала, а на нем с ухмылкой самодовольного кретина и облаченный в саван из замаранных больничных простынь восседал тот, кто величает себя Творцом! Сжимая в руке гниющий труп без рук и ног, он подносил его поочередно к глазам, и к носу, и ко рту – да-да, ко рту, к своей разинутой пасти, так что не оставалось сомнений, что сделал он с сим омерзительным трофеем. Ноги его утопали в огромной луже кипящей крови, и порой из нее высывались, как глисты из вонючей жижи, несколько голов, – высывались боязливо и в тот же миг скрывались вновь, дабы спастись от наказания. Ослушнику грозил удар карающей пяты по переносице, но люди – не рыбы, как обойтись им без глотка воздуха! А впрочем, если не рыбе, то лягушечье существование влачили они, плавая в этом чудовищном болоте. Когда же рука Творца пустела, он шарил ногою и, зацепив за шею острыми, как клещи, когтями следующую жертву, выуживал ее из красного месива – чем не отменный соус! Всех, всех ждала одна участь: первым делом Творец откусывал каждому голову, затем отгрызал руки и ноги, а напоследок сжирал туловище, – собирал без остатка с костями вместе. Покончив с одним, брался за другого, и так всю вечность; час за часом. Лишь изредка он отрывался, чтобы возгласить: "Раз я вас сотворил, то волен делать с вами,



что хочу. Вы невиновны предо мной, я знаю, но никакой вины не надо; я потому вас истязую, что ваши муки – мне отрада". И жуткий пир возобновлялся, и череп вновь трещал под челюстями, и комья мозга застревали в бороде. Что, читатель, верно у тебя самого потекли слюнки? Верно, и ты не прочь отведать свеженького, аппетитного мозга, только что извлеченного из головы славной "рыбки"? Ужас сковал меня пред этим виденьем, я не мог вымолвить ни слова, не мог пошевелиться. Трижды готов был рухнуть, как мертвец, но трижды удерживался на ногах. Меня бил озноб, внутри все кипело и клокотало, будто лава в жерле вулкана. Я задыхался, словно стальной обруч стиснул мне грудь; когда же, вне себя от страха и удушья, я стал хватать ртом воздух, то из моих разверстых уст исторгся крик... пронзительно-надрывный крик, такой, что я его услышал! Тугие жгуты, стягивавшие слух, ослабли, барабанная перепонка затрещала под напором того воздушного потока, что, хлынув из моей груди, разлился далеко окрест. Стена врожденной глухоты рухнула разом. Я слышал! Я обрел недостававшее пятое чувство. Но, увы, оно не принесло мне радости! Ибо если с тех пор я начал различать человеческий голос, то каждый раз при этих звуках меня пронзала боль с такою же страшною силой, как тогда, когда оцепенев, взирал я на муки невинных жертв. Стоило кому-нибудь заговорить со мною, как все, что открылось мне в потаенной глубине небес, вновь оживало пред глазами и речь сородича была лишь отзвуком того неистового крика, что потряс все мое существо. Я не мог отвечать, предо мной вновь всплывало жуткое кровавое болото, и волосы вставали дыбом от стонов, подобных реву дикого слона, с которого живьем сдирают кожу. А когда с годами я лучше узнал Человека, то к чувству жалости прибавилась бешеная ярость, – разве не достойно ее жестокое чудовище, способное лишь изрыгать хулу да изощряться в злодеяньях. И к тому же беззастенчиво лгать, что зло среди людей большая редкость! Но все это в прошлом, и я уже давно зарекся вступать в беседу с человеком. А каждый, кто приблизится ко мне, пусть онемее, пусть ссохнутся его голосовые связки, чтобы не смел прельщать меня красивыми речами и изливать предо мною душу в словах, подобных соловьиному пению. Пусть смиренно сложит руки на груди, опустит очи долу и молчит, да, пусть хранит священное молчание. Довольно я настрадался, когда меня днем и ночью, словно свора псов, терзали кошмары и воскресало открывшее мне тайну бытия виденье, – одна лишь мысль о том, что эта пытка повторится, мне претит. О, знайте: сорвется ль с гор лавина, возопит ли в выжженной пустыне львица, оплакивая смерть детенышей, иль затрещит столетний дуб, сокрушенный небесным огнем, иль смертник возопит в темнице пред тем как положить главу под гильотину, или гигантский спрут, торжествуя победу над жертвой кораблекрушения или над неосторожным пловцом, подымет шторм на море – знайте, все эти звуки во сто раз приятнее для слуха, чем гнусный голос человека!

(9) Сию малую живность люди кормят даром. Не из корысти, а из страха. Да и как же не бояться: коли это прожорливое насекомое не насытится – а всем явствам и питиям предпочитает оно кровь, – то может волшебным образом увеличиться до размеров слона и, как бешеный слон топчет хрупкие колосья в поле, в гневе растоптать неугодных ему. Вот почему его стараются всячески ублажить, заискивают перед ним по-собачьи и почитают несравненно больше любой иной божьей твари. Человеческая голова служит ему тронem, на коем оно величественно восседает, вонзив когти в кожу. Когда же, достигнув преклонного возраста, оно чрезмерно жиреет, его, как то было принято поступать со стариками у одного из древних народов, убивают, дабы избавить от мучительных старческих недугов. Хоронят его с почестями, как героя, и достойнейшие граждане несут его гроб на плечах до самого кладбища. Могильщик проворно засыпает могилу под цветистые речи о бессмертии души, тщете земной жизни и неисповедимой воле Провиденья, и наконец, мраморная плита завершает путь обретшего вечный покой труженика. Толпа скорбящих расходится, и ночная тьма опускается на кладбищенские стены.

Утрата тяжела, нет слов, но все же... не падайте духом, люди: дорогой усопший позаботился в утешение вам наплодить миллионы потомков; они грянут, эти бойкие отпрыски, они не замедлят превратиться из драчливых озорников в прекраснейших, почтенных, смиренных видом и свирепых духом вшей. Наш благодетель предусмотрительно отложил уйму крохотных яичек, надежно прикрепив их к вашим волосам, чтобы растущие личинки могли высасывать вдоволь питательной влаги из волосков. А в должный срок из этих гнид-яиц проклюнутся детеныши. И можете за них не опасаться: уж эта молодежь быстро усвоит житейскую науку, и вы скоро получите тому весьма ошутимое доказательство, когда они испробуют на вас свои коготки и зубки.

Известно ли вам, почему вши довольствуются вашей кровью, а не прогрызают череп? Нет? Так я скажу вам: лишь оттого, что не хватает сил. Но

если бы размер их челюстей соответствовал их неумным аппетитам, они, вне всякого сомнения, изгрызли и сожрали бы все: мозг и глазные яблоки, мускулы и кости – все ваше тело без остатка. Все за один присест. Вооружитесь микроскопом и разглядите попристальнее хоть одну вошь из шевелюры какого-нибудь оборванца: что, разве я не прав? Беда этих головорезов лишь в том, что они не вышли ростом. Верно, в рекруты их бы не взяли: таких коротышек бракуют. Но горе кашалоту, если он вздумает вступить в единоборство с вошью. Хоть он и гигант, но будет обглодан во мгновение ока. И кончика хвоста не останется. Слон скорее даст себя одолеть. Но не вошь! Но не стоит и пытаться справиться с нею. У вас на руке растут волоски – берегитесь! Ваша рука из плоти, крови и костей – берегитесь! Миг – и захрустят, точно в железных тисках, пальцы. Исчезнет, точно ее и не было, кожа. Упованьям вшей не дано исполниться. И все же, завидев вошь, обойдите ее стороной, она из тех, кому следует класть палец в рот. Не то можно жестоко поплатиться. Такое уж бывало. Что ж, хотя, разумеется, я был бы рад когда бы вши могли досадить людям побольше, но и то, что делают они сейчас, немало.

Доколе, человек, ты будешь поклоняться трухлявому идолу, этому твоему богу, которого не пронять ни молитвами, ни щедрыми жертвоприношениями? Ты благочестиво украшаешь ее алтари цветами, ты приносишь на них полные чаши дымящейся крови и нежного мозга – и что же взамен? Что взамен – разве бури, смерчи и землетрясения не терзают землю и ныне, как с начала мира? Ты же, видя, что он равнодушен и глух, считаешь его еще усерднее. Не потому ли, что не ведаешь, насколько он силен, и полагаешь, будто платить презрением за поклонение и покорство вправе лишь некто всемогущий? Такая же точно причина побуждает все населяющие землю народы – хоть и имеют они собственных кумиров: одни чтут крокодила, другие продажную женщину – при одном лишь внушающем священный ужас имени твоем, о Вошь, согласно преклонять колени пред изваянием божественного кровопийцы и безропотно лобызать свои цепи. Если же какое-нибудь племя не пожелает раболепствовать и в дерзости своей дойдет до бунта, ему не миновать возмездия, гнев неумолимого божества, словно ураган груды мертвых листьев, подхватит и сметет с лица земли ничтожных гордецов.

О чахлоокая Вошь, доколе реки несут свои воды в бескрайние моря, доколе светила небесные свершают свой путь по неизменным орбитам, доколе не знает предела всепоглощающая пустота эфира, доколе люди истребляют друг друга в нешадных войнах, доколе карающий небесный огонь обрушивается на своекорыстный мир, доколе человек не познает Творца, доколе будет смеяться ему в лицо и презирать его, хотя бы и не беспричинно, – незыблемой пребудет твоя власть над вселенной. Приветствую тебя, восходящее солнце, божественный освободитель*, неуловимый враг рода человеческого. Вели грязной похоти все вновь и вновь завлекать человека в свои смердящие объятия и клясться ему нерушимыми клятвами в верности на веки вечные. Не погнушайся и поцеловать край засаленного платья сей распутницы – ее услуги того стоят. Ведь не прельсти она человека своими смачными персями, тебя бы не было на свете, ибо ты – плод их животворного совокупления. Ты порождение грязи и порока! Да не посмеет же твоя мать покинуть ложе человека, да не вздумает скитаться по миру в одиночку, или она погубит свое собственное детище. Пусть вспомнит, как долгих девять месяцев вынашивала тебя в своей утробе, в сыром тепле, в пахучей темноте, – так неужто же все существо ее не содрогнется при мысли о том, что милая безобидная крошка, рожденная ею и превратившаяся в не знающего жалости хищника, может по ее же вине распрощаться с жизнью! О венценосная грязь, не лишай меня счастья злорадно наблюдать, как зреют и исподволь крепнут все новые поколения прожорливых твоих деток. Для этого, ты знаешь, тебе лишь стоит поплотнее прижаться к чреслам человека, и никто не упрекнет тебя в бесстыдстве, ведь он – супруг твой...

Ну вот, хвалебный гимн вшам закончен, мне остается лишь прибавить, что я приказал вырыть шахту площадью в сорок квадратных лье и изрядной глубины. Здесь скрыты до поры до времени девственные залежи непотребной живой руды. Основной пласт залегает на самом дне, а от него расходятся в разные стороны туго набитые извилистые ответвления. Я искусственно создал это месторождение, и вот каким образом. Из шевелюры человечества я вытащил одну вошь-самку, переспал с нею три ночи кряду, а затем поместил в эту приготовленную заранее шахту. Судьба благоприятствовала моему начинанию: человеческое семя оплодотворило насекомое, чего, как правило, в подобных случаях не происходит. А несколько дней спустя самка произвела на свет живой комок – скопление сотен и сотен уродцев. Шло время, тошнотворный ком увеличивался в размерах и одновременно становился густым и жидким, словно ртуть, пока не растекся по многочисленным руслам, и теперь вся эта масса



живет и сама себе служит пищей (все равно, прирост намного превосходит сию естественную убыль), если только я не подкармливаю своих питомцев человечинкой; когда удастся раздобыть новорожденного ублюдка, которого бросила мать, а когда просто парочку рук – я отрезаю их по ночам у молоденьких девушек, усыпив их предварительно хлороформом. Каждые пятнадцать лет поголовье вшей, живущих на людях и сосущих их кровь, уменьшается настолько, что все племя оказывается под угрозой вымирания. И это кажется неизбежным. Как-никак, а человек, их враг, наделен разумом и потому одерживает над ними верх. И вот тогда, вооружась лопатицей, пригодной для адских печей, я извлекаю из моего неисчерпаемого рудника огромные, величиною с гору, глыбы вшей, затем разрубаю их топором на куски и темной ночью разбрасываю по городским улицам. Согретые теплым духом человеческих жилищ, плотно спрессованные комки понемногу размягчаются, и, как в ту пору, когда только начинали ими заполняться витки подземных галерей, оттаявшие вши резвыми весенними ручейками растекаются во все стороны и, точно злокозненные духи, проникают в каждый дом. В глухой растерянности лают сторожевые псы, чуя полчища неведомых тварей, что просачиваются сквозь стены, как сквозь пористую губку, зловеще обступают изголовья мирно спящих, неся с собою страх и ужас. Быть может, и вам случалось хоть раз в жизни слышать этот тоскливый, надсадный лай. Бедняга пес не в силах уразуметь, что же происходит, таращится, не жалея глаз, в ночную тьму. Его злит неумолчное шуршанье, и он понимает одно: его надули. Миллионное воинство вшей заполняет город, как туча саранчи. Теперь их хватит на новые пятнадцать лет. Пятнадцать лет будут они сражаться с человеком, нанося ему бесчисленные зудящие раны. А потом я выпущу новую партию. Иной раз, когда я дроблю глыбы этих вредных ископаемых, попадается особенно твердый кусок. Его живые атомы стремятся расцепиться, жаждут поскорее втрываться в человека, но слишком плотно они срослись. Наконец последнее судорожное усилие оказывается столь мощным, что весь кусок, так и не разорвавшись, взвивается ввысь, как будто им выстрелили из пушки, а затем падает с такой силой, что зарывается в землю. Случается, засмотревшийся на небо крестьянин вдруг видит, как сверху летит какой-то камень и врезается прямо в его поле. Ему невдомек, что это за диво. Но вам теперь известно достоверное объяснение сего феномена.

О, настанет ли пора, когда люди, не выдержав борьбы с мириадами вампиров, перемерут в страшных муках, а вши, плодясь и размножаясь, заполонят всю землю, покроют ее живой коростой, плотным слоем, как малые песчинки покрывают берег моря? Божественное зрелище! И только я один им буду тешить взор, паря, подобно ангелу, на крыльях над океаном вшей.

(10) О математика, о безупречная, я не забыл тебя, я помню сладчайший мед твоих исполненных высотой премудрости уроков. С младенчества тянулся я устами к твоему священному и древнему – древней, чем солнце, – источнику, и донныне храню тебе верность и неустанно возношу хвалу в твоём грандиозном храме. Прежде мой ум застилала подобная густому туману пелена, но, когда одну за другой я одолел все ступени, ведущие к твоему алтарю, ты порвала эту завесу, как морской ветер разметает в разные стороны стаю чернокрылых альбатросов. А взамен ты даровала мне ледяную трезвость, мудрую рассудительность и несокрушимую логику. Вскормленный твоим животворным млеком, следуя за путеводным факелом, который ты благосклонно зажигаешь для каждого, кто возлюбил тебя всею душой, мой разум быстро возмужал и набрался силы. Арифметика! Алгебра! Геометрия! – О великая троица, о лучезарный треугольник! Не познавший вас – жалкий безумец. Однако он достоин жесточайшей кары, ибо не просто легкомыслие, но еще и высокомерие невежды отвращает его от вас. Зато познавший и оценивший вас с презрением отвернется от всех земных благ и удовольствий, лишь ваши таинства наполнят восторгом его душу, лишь об одном станет он мечтать: о том, чтоб, устремляясь все выше и выше по виткам восходящей спирали, вознестись к самой вершине небесной сферы. Все на земле – лишь дебри заблуждений да нравоучительного пустословья, иное дело ты, точнейшая математика: твои строгие вычисления, твои незыблемые законы ослепляют взор ярчайшим светом божественной гармонии, которой отмечен весь порядок мироздания. В тебе – квинтэссенция этой гармонии; квадрат, столь чтимый Пифагором, есть совершенный образец ее. Извлекая из вселенского хаоса твои хрустальные теоремы и алмазные формулы, Всевышний явил всю свою мощь. Множество гениальных умов с древнейших времен и до наших дней благоговеино вглядывались в твои начертанные на огненных скрижалях, исполненные тайного значения и дышащие самостийной жизнью фигуры и знаки; для грубой толпы они непонятны, посвященный же читает в них вечносущие аксиомы и заповедные символы, те, что существовали до начала мира и пребудут неизменными после его конца. И тогда словно пропасть разверзается



под ногами прозревшего, он ясно видит: лишь в математике величие и истина, тогда как в человеке – одна напыщенность и ложь. Для мудреца, которого ты удостоила вниманием и напутствием, так нестерпима безграничная людская тупость и ничтожность, что, с болью отворачив свой взгляд от земной суеты, седой аскет предаётся созерцанию материй высшего порядка. И, преклонив колена, славит твой божественный лик – ипостась Предвечного Владыки. Однажды майской ночью – я был тогда еще ребенком – предстали предо мной в лунном свете, на берегу прозрачного ручья три девы, три математические музы, сияющие прелестью, и чистотой, и царственным величием. В легких, колышущихся одеждах они приблизились ко мне, привлекли меня, словно возлюбленное чадо, к своим гордым сосцам. И едва лишь, жадно прикинув к ним, я насытился божественной влагой, как с благодарным трепетом ощутил, что моя жалкая человеческая природа стала возвышеннее и совершеннее. С тех пор, о богини-соперницы, я больше не покидал вас. С тех пор не один отважный замысел, не одна горячая привязанность из тех, что, казалось, запечатлелись в сердце навеки, словно золотые буквы на мраморной плите, поблекли и растаяли, подобно тому как тают ночные тени в лучах зари! С тех пор я успел немало повидать на свете: видел, как бушевала смерть, стараясь упрятать всех живых в могилы и взрастить на орошаемых кровью полях сражений нежнейшие цветы; видел опустошительные стихийные бедствия: бесстрастно наблюдал землетрясения, извержения огненных вулканов, ураганы, смерчи, самумы. С тех пор перед моими глазами, как череда дней, прошла череда поколений: утром они открывали глаза, пробуждались к жизни, расправляли крылья и устремлялись на простор бытия с восторгом бабочки, выпорхнувшей наконец из тесного кокона, а вечером, перед заходом солнца, умирали, бессильно поникнув головой – так увядшие полевые цветы сиротливо склоняют венчики, и их с унылым посвистом колышет ветер. И только ты, о триединая математика, одна лишь ты – нетленна. Твои владенья недоступны дыханию времени, нерушимы твои крутые пики, невредимы твои бескрайние долины. Твои простые пирамиды переживут пирамиды египетские, эти гигантские муравейники, эти памятники рабству и невежеству. И когда настанет конец всех времен, когда сгинут в чудовищном зове вечной тьмы звезды, когда пробьет час Страшного Суда и человеческий род, корчась от ужаса, предстанет пред ним, тогда, среди хаоса и разрушения, лишь твои кабалистические числа, скупые равенства и ясные линии устоят и займут подобающее им место одесную Предвечного Судии. О благодарю, благодарю за все, чем я тебе обязан! За то, что даровала моему уму свойства, недоступные смертным. Когда б не ты, мне бы не выиграть моей битвы с человеком. Когда б не ты, я пресмыкался бы пред ним и лобызал прах у его ног. Когда б не ты, я стал бы беззащитной жертвой его коварства и жестокости. Но ты вразумила меня и я стал подобен хорошо натренированному борцу, которого нелегко застать врасплох. Ты научила меня холодной трезвости – я почерпнул ее в твоих кристалльных, не замутненных страстью построениях, – и вот я презрительно отринул ничтожные услады краткого земного пути и не поддавался обманчивым соблазнам, которыми приманивали меня сородичи. Ты научила меня неспешной рассудительности – она опора анализа, синтеза, дедукции – твоих несравненных методов, и вот я расстроил планы моего смертельного врага и напал на него сам, вонзив в его утробу острый кинжал, с которым он уж не расстанется до смерти: после такого удара не встать. Ты научила меня логике – она краеугольный камень твоего ученья, и вооружившись силлогизмами и усвоив, что их запутанный лабиринт на самом деле есть кратчайший путь к истине, мой ум стал вдвое против прежнего сильнее и смелее. С этим разящим оружием в руках я исследовал потаенные уголки человеческой души и там, в самой глубине, обнаружил глыбу ненависти, которой среди ядовитых миазмов сидит и созерцает собственный пуп гнусный уродец. Это само Зло, угнездившееся там, в потемках, Зло, господствующее в человеке над Добром, – и я первый разглядел его! Пустив в ход все то же отравленное оружие, которым ты меня снабдила, я сверг самого Создателя с пьедестала, на который вознесла его людская трусость. А он заскрежетал зубами, но стерпел поругание, ибо признал, что имеет дело с тем, кто сильнее его. Однако оставим его, как груды обвисших веревок, и спустимся с небес.

Философ Декарт сказал однажды, что никто до сих пор не воздвиг ничего прочного на математической основе. Таким хитроумным способом он выразил мысль о том, что не каждому и не сразу дано оценить тебя по достоинству. Ибо есть ли что-нибудь прочнее и надежнее тех трех твоих атрибутов, о математика, которые я перечислил и которые, переплетаясь друг с другом, венчают величественный шпиль твоего исполинского храма. Храм этот все разрастается; что ни день, то новые богатства стекаются в него изо всех подвластных тебе областей, все новые сокровища духа, добытые в твоих копиях. О святая математика, в общении с тобой хотел бы я провести остаток дней



своих, забыв людскую злобу и несправедливость Вседержителя.

(11) "Серебряный фонарь под сводами храма*, ты привлек мой взор и привел в смятенье ум: ради чего, подумал я, зажжен сей светоч. Я слышал, будто в темные вечера ты разгоняешь мглу для стекающих сюда на молитву, будто лучи твои указуют кающимся грешникам путь к алтарю. Что ж, возможно, но к чему все это: ведь никто тебя не принуждает так усердствовать. Пусть себе колонны базилики утопают во мраке, а если, оседлав буйный вихрь и нарушив благолепие храма, ворвется внутрь злой дух, зачем вступать в противоборство с посланцем Князя Тьмы, дай хладному его дыханью задуть в тебе огонь, чтобы он без помех мог выбрать себе жертву из стада коленопреклоненных верующих. Погасни, о, погасни на радость мне - ибо, покуда ты рассыпаешь трепетные блики, я принужден, стиснув зубы, смирять свой нрав и, стоя у порога святого храма, лишь пожирать глазами всех, кто спасся от моей карающей руки, укрывшись в доме Господа. А между тем, о поэтический светильник, когда бы ты только захотел понять меня, мы стали бы друзьями, так почему же, стоит мне в поздний час ступить на мрамор паперти, как ты вспыхиваешь ярчайшим блеском, что мне, признаться, вовсе не по вкусу. Пламя свечей все светлей, все горячее, вот уже больно смотреть, как будто горят не свечи, а электрические лампы; этим мощным, этим небывалым светом ты, словно раскалясь от праведного гнева, заливаешь все приделы, все уголки, все закуты громоздкого Божьего хлева. Когда же, изрыгая богохульства, я удаляюсь восвояси, ты, с честью выполнив священный долг, тускнеешь и снова светишь ровно, скромно и неярко. Скажи на милость, уж не потому ли ты спешишь оповестить рабов Господних о приближенье их заклятого врага и обратить их взгляд туда, откуда он готовит нападение, что разгадал все мои тайные помыслы? Я склонен думать, что так оно и есть, ибо и сам разгадал тебя и понял, что ты, как сторожевой пес, приставлен охранять хоромы, по которым с павлиньей спесью разгуливает твой хозяин. Но рвение твое напрасно. Предупреждаю: еще хоть раз ты выдашь меня и попытаешься натравить на меня человечью стаю, неистово заблестав, - я уж говорил тебе, что сей оптический феномен, не описанный, впрочем, ни в одном физическом трактате, мне не нравится, - так вот, еще раз - и я схвачу тебя за патлы да заброшу в Сену. Я впредь не потерплю, чтоб ты так злобно мне вредил, тогда как я не сделал тебе ничего дурного. Там, на дне, сияй себе, сколько вздумается, я позволяю; оттуда можешь дразнить меня своей немеркнувшей улыбкой; там, убедившись наконец, что, сколько ни блести, а я неуязвим, и что ты лишь напрасно переводишь масло, ты им подавишься с досады и выблешь на дно".

Так говорит Мальдорор, стоящий на пороге храма и не сводящий ненавидящего взора с фонаря над церковными воротами. Светильник этот его безмерно раздражает: зачем понадобилось ему висеть именно здесь, да и вообще весь вид его внушает опасенье. Но если и вправду некий дух обитает в нем, - думает Мальдорор, - то это дух трусливый, коль скоро не желает отвечать на честные и открытые речи с такою же прямою. В нетерпеливом озлобленье Мальдорор горячится, размахивает руками и мечтает, чтобы фонарь превратился в человека: то-то не поздоровилось бы этому человеку! Увы, светильники не превращаются в людей, сие противоречит их природной сути. Но Мальдорор не может отступить ни с чем, он ищет острый камень и что есть сил бросает вверх... есть! цепь оборвалась, как травинка под косой, драгоценная утварь рухнула наземь, и брызги масла разлетелись по каменным плитам. Злодей вцепляется в светильник и хочет унести, но тот не поддается, тот начинает разрастаться. Чудится ли это или на самом деле - по бокам у него реют два крыла, а верхняя часть превратилась в торс ангела. Сие ангелоподобное существо бьет крыльями, старается взлететь, но Мальдорор не ослабляет хватку и не пускает. Полуфонарь и полуангел - где видано такое! Перед очами Мальдорора ангел и фонарь, он хочет разглядеть, где тут фонарь, где ангел, но не может, да это вовсе невозможно - они срослись, и получился не фонарь, не ангел, а нечто среднее и двуединое. Однако Мальдорору это невдомек, и он решил, что у него помутилось в глазах, оттого и мерещится что-то несусветное. И все же Мальдорор изготавился к нешуточной схватке, ибо кем бы ни был его противник, видно по всему, что он не робкого десятка. Никто не знает - скажут вам простые души, - как разыгрывалась кощунственная эта драка в оскверненном храме, потому что двери святилища сами собою повернулись на скрежещущих петлях и захлопнулись, дабы никто и не мог этого увидеть. Но было так: невидимый меч наносил человеку в плаще удар за ударом, однако под градом ударов он неумолимо притягивал ангела, стараясь ртом дотянуться до светлого лица. Казалось, ангел стал изнемогать, смирился с неизбежным пораженьем. Все реже, все слабее взмахи меча, еще немного - и злодей добьется своего, обლობызает ангела - не таково ль его намеренье? Да, так и



есть. Вот стальнойю рукою сжимает он ангелу горло – тот задыхается, хрипит! Вот запрокинул лицо его и прижал к своей преступной груди. Вот застыл, как будто бы пронзенный жалостью к небесному созданию, как будто не решаясь подвергнуть пытке того, кого охотно назвал бы другом. Но тут же вспомнил, что пред ним прислужник Бога, и ярость снова закипела в нем. О ужас, ужас, пробил час чудовищного злодеянья! Преступник наклонился, высунул язык – тягучая слюна стекает с языка – и провел им по щеке ангела, молящего взором о пощаде. Лизнул еще, еще раз и... смотрите, о смотрите! Розовая, как заря, кожа сына неба почернела, словно уголь! Пахнуло гноем. Гангрена, настоящая гангрена. В одно мгновение потемнело и сморщилось чудное лицо, но мало этого: гнусная скверна беспощадно пожирает тело, и вот уже вся ангельская плоть – одна сплошная, мерзостная язва. Ужаснулся и Мальдорор, похоже, он и сам не ожидал, что ядовитая слюна его подействует так страшно, – ужаснулся и, схватив фонарь, рванулся прочь. Но в тот же миг увидел над собою черную тень; тяжело шевеля обугленными крылами, медленно поднималась она ввысь. Враги... еще минута – и каждый устремится по своему пути: один – в светозарные небеса, другой – в мрачную пучину зла, но пока оба замерли, вперив друг в друга взор... Безмолвное прощанье. Все мысли человечества за шестьдесят веков, истекших от начала мира, и за все века грядущие легко вместились бы в один этот взгляд. Но не таковы наши герои и не таковы обстоятельства, чтобы обмениваться мыслями, которые может породить заурядный человеческий ум – о нет! Флюиды высшего порядка струили их глаза. И этот взгляд навеки сделал их друзьями. Открыв, что среди слуг Господних встречаются столь благородные души, Мальдорор был потрясен, так потрясен, что даже усомнился: не заблуждается ли он, не ошибся ли, избрав служенье злу. Но нет, он тверд в своем решении; рано или поздно, но он достигнет славной цели, он одолеет Вседержителя, он станет править сам и станет сам повелевать всем сонмом не менее прекрасных ангелов. Недавний же соперник Мальдорора без слов, одними лишь глазами, успел сказать ему, что по пути к чертогам рая вернет себе свой прежний облик, и, уронив прохладную слезу на воспаленный лоб того, кто поразил его гангреной, стал, как орел, кругами возноситься к облакам, пока совсем не скрылся в них. Тогда и Мальдорор очнулся и вспомнил о фонаре, который все время сжимал в руках, – вот он, виновник всех бед. Стремглав помчался он к Сене и с размаху зашвырнул фонарь подальше от берега. Фонарь упал, взвихрил водоворот и, покрутившись в нем, пошел ко дну. С тех самых пор каждый вечер, чуть только ступят сумерки, на поверхности Сены близ моста Наполеона всплывает зажатый фонарь, увенчанный, вместо ручки, парой ангельских крылышек, – всплывает и величаво движется вниз по реке. Неспешное течение увлекает его все дальше, он минует арки моста Гар, моста Аустерлиц и продолжает свой бесшумный путь до моста Альма. Здесь останавливается, поворачивает и столь же легко плывет против течения вспять, так что четыре часа спустя возвращается к тому же месту, откуда начал плавание. Завершив один круг, начинает другой – и так всю ночь. Светлый блеск его, как будто горят не свечи, а лампы, затмевает горящие вдоль набережных фонари, он плывет меж их шеренг, горделивый и недоступный, как монарх, с немеркнувшей улыбкой на устах и отнюдь не давится с досады маслом. На первых порах его пытались догнать на лодках и выловить, но тщетно: без труда уходил он от погони, грациозно ныряя и всплывая далеко впереди. И теперь стоит суеверным матросам завидеть плавающий светильник, как они обрывают на полуслове песню и поспешно поворачивают в другую сторону. Если вам случится ночью идти через мост, оглядитесь, и вы непременно увидите где-нибудь на реке сияющий фонарь, а впрочем, говорят, он показывается не всякому. Когда на мост ступает человек с нечистой совестью, светильник в мгновение ока гаснет, и напрасно, уязвленный, вопрошает тот темноту, пытаюсь проникнуть взором до самого илистого дна. Смысл происшедшего ему понятен. Порою ему кажется, что он видит волшебный свет, но увь: это всего лишь сигнальный огонь на судне или отражение газового рожка. Он знает, в чем причина исчезновения светоча: причина в нем самом, и, одолеваемый тягостными думами, убыстряет он шаг, чтобы скорее укрыться в четырех стенах. А серебряный фонарь вновь всплывает и продолжает свой еженощный рейд, без усталости петляя по всем извилинам причудницы-Сены.

(12) Слушайте, смертные, какие мысли посещали меня в детстве, по утрам, когда алел восток*: "Вот я проснулся, но мозг еще в каком-то сонном тумане. Каждое утро встаю я с такою тяжелой головой. Ночь не приносит покоя: я почти не сплю, а если усну, меня мучат кошмары. Днем странные думы тревожат меня, бесцельно блуждает мой взгляд, и снова бессонная ночь. Но сколько же можно не спать? Природа непременно должна взять свое. И вот расплата за пренебрежение ее потребностями: бледное, без кровинки, лицо, лихорадочный



блеск в глазах. Я бы и рад не изнурять себя непрерывной работой ума, но независимо от моего желанья помраченные чувства неотвратимо устремляются все по той же привычной стезе. Я замечал, что и другие дети похожи на меня. Только лица их еще бледнее, а брови сурово сведены, как у взрослых, наших старших братьев. О Создатель, нынче утром я не премину усладить тебя фимиамом моей детской молитвы. Порою мне случается забыть об этом, и, сознаюсь, в такие дни я чувствую себя счастливее обычного: точно спадают оковы, и вольным духом полей наливается грудь; если же я выполняю постылую обязанность, навязанную старшими, и возношу тебе хвалу – к тому же это славословье приходится каждый раз, изнывая от скуки, прилежно сочинять заново, – то уже до конца дня бываю угрюм и зол, ибо не нахожу ни логики, ни здравого смысла в том, чтобы говорить, чего не думаешь, и зияющая бездна одиночества манит меня. Но, сколько бы ни вопрошал я пустоту, она не разъяснит мне моего смятенья, она безмолвствует. Я желал бы любить и почитать тебя, но меня пугает твое могущество, и гимны, что я пою тебе, полны страха. Если одною силой мысли ты можешь творить и разрушать миры, то тебе ни к чему мои молитвы; если из чистой прихоти ты насылаешь моровую язву на целые города или приказываешь смерти хватать всех кто ни попадет в ее когтистые ручищи, невзирая на возраст, то у меня нет охоты завязывать столь опасную дружбу. И не из ненависти к тебе, а из страха, как бы не возненавидел ты меня – твой гнев непредсказуем, он вспыхивает и разрастается внезапно, так кондор в диких Андах срывается вниз со скалы и на лету распахивает гигантские крылья. Разделять с тобою твои отнюдь не безобидные забавы я не могу, зато легко могу оказаться их первой жертвой. Да, ты недаром прозываешься Всемогушим: ты и только ты вправе носить это имя, ибо никто, кроме тебя самого, не может положить предел твоим желаньям, благим или пагубным. Вот почему бежать у края твоего хитона, чуть поспевая за яростной твоею поступью, было бы для меня несносно: пусть я еще не раб твой, но каждый миг могу им стать. Правда, порою, когда ты оглядываешься на самого себя, чтобы вникнуть в свои высочайшие деяния, и все зло, которое ты незаконно обрушил на всегда покорное и верное тебе, как лучший из друзей, человечество, встает перед тобою страшным призраком, скелетом, выпрямившим гневный свой хребет, что каждым позвонком вопиет об отмщении, – тогда волосы твои поднимаются дыбом и слезы запоздалого раскаянья льются из глаз, и ты сам же истово клянешься навсегда прекратить, забросить в джунгли вечности свои чудовищные игры, измышления свирепого тигра твоей фантазии – их можно было бы считать остроумными, не будь они столь жестоки; но правда и то, что все эти клятвы – недостаточно цепкий гарпун, они не проникают в глубь души, и вот уже черная проказа зловещего порока вновь разъедает твой ум, и вновь ты погружаешься в трясины злодеяний. Я бы хотел верить, что ты наносишь удары людям помимо собственной воли (хоть это и не умаляет убийственной их силы), что добро и зло единою струею хлещут из твоей царственной, сжираемой гангреною груди, подобно бурному потоку с крутизны, и повинуюсь лишь слепой неведомой стихии, но все говорит об обратном. Слишком часто приходилось мне видеть, как пламенел, налившись кровью, твой патриарший, замшелый от времени лик и бешено оскальивались исполинские клыки из-за какой-нибудь не стоящей внимания оплошности, допущенной людьми, – слишком часто, чтобы я продолжал надеяться, будто это благодушное предположение соответствует истине. И коль скоро нельзя иначе, я так и буду каждый день, сложив ладони, обращать к тебе смиренные молитвы, но искренне прошу тебя лишь об одном: не затрудняй свое величество заботой обо мне, позволь мне прозябать в забвеньи, словно червь, зарывшемуся в землю. Знай, я предпочту довольствоваться самым скудным пропитаньем, обрывками морской травы, приплывающими к нашим берегам с далеких островов в пенных объятьях прибоя, нежели знать, что каждую минуту за мной следят твои глаза и что глумливый скальпель занесен над моим мозгом. Я сам раскрыл перед тобою все свои мысли и надеюсь, что благоразумие, которым они дышат, при твоей любви к порядку польстят тебе. Я лишь хотел оговорить характер отношений и степень близости, которые должны установиться между нами, а засим изволь, готов ежечасно, уподобив щеки свои кузнечным мехам, вдвухать тебе в уши лживые восхваления, которых мелкое твое тщеславие ревниво требует от каждого смертного, – делать это целый день без усталости, начиная с того самого раннего часа, когда в голубоватой дымке встает заря и собирает искры света, что затерялись в атласных складках сумерек, как я, в своем, стремлении к добру, выискиваю искорки. Но хотя прожил я не так много, сдаётся мне, что никакой любви нет и в помине, а есть лишь звучное названье, ничего по сути не означающее. Ты слишком явно выказываешь свой нрав, надо бы маскироваться поискуснее. А впрочем, быть может, я неправ и ты поступаешь вполне обдуманно, да и кому, как не тебе, лучше знать, что делать. Люди же считают священным долгом подражать тебе, и потому алтарь любви в их душах

пуст, и лишь злобой горят глаза их: каков отец, таковы и дитятки. Что бы ни думал я о тебе, но эти свои мысли облеку в покровы беспристрастной критики. Я, дескать, был бы только рад, когда бы оказалось, что я заблуждаюсь. Показывать же тебе мою ненависть, которую я вынашиваю и пестую, как любимое чадо, я вовсе не намерен: куда разумнее затаить ее, разыграть перед тобою роль нелицеприятного судьи, что призван дать оценку твоим несправедливым деяниям. Тогда-то ты и отвернешься от меня и постарайся забыть о том, что я существую на свете, однако в конце концов все же задавишь настырного клопа, вгрызшегося в твою печень. Уж лучше угощать тебя льстивыми, медовыми речами... Да, Господи, ты сотворил мир и все живое и неживое в нем. Ты совершенство, Ты кладезь всех добродетелей. Все признают Твое величие. Вселенский хор поет Тебе немолчную осанну! И малые птахи прославляют Тебя! Тебе подвластны звезды... Во веки веков, аминь!"

Таково было начало моей жизни, так посудите: стоит ли дивиться, коль я стал тем, что есть!

(13) Я искал друга, искал свое подобие, искал, но не находил. Все уголки земли обшарил, но напрасно. Одиночество тяготило меня - я не мог больше. Я изнывал без родственной души, без единомышленника. И было утро, и солнце встало над горизонтом во всем своем великолепии, и тогда появился юноша - цветы расцветали, где ступала его нога. Он подошел ко мне и протянул мне руку и сказал: "Ты звал меня, и вот я пришел. Благослови сей день". Но я отвечал ему: "Я не звал тебя, пооди прочь, мне не нужна твоя дружба..." И был вечер, и край черного, из мрака сотканного покрывала ночи уже коснулся земли. И тогда из мглы возник неясный силуэт прекрасной женщины, и волшебные чары ее коснулись меня. Состраданием был полон взор ее, но заговорить она не решалась. "Подойди ближе, - сказал я ей, - свет звезд слишком слаб, и я не вижу твоего лица". Она потупилась и робко, чуть прижимая траву легкою стопой, приблизилась ко мне. Я разглядел ее, и вот что я сказал: "Добро и справедливость в сердце твоём, ясно вижу это, и я знаю: нам не ужиться вместе. Тебя влечет моя красота, как увлекала многих, но рано или поздно ты пожалеешь, что посвятила мне свою любовь, ибо не знаешь души моей. Не то, чтобы я стал когда-нибудь изменять тебе, нет, той, что предалась мне так искренне и беззаветно, я буду столь же предан; но раз и навсегда запомни: не след овечкам и волкам заглядываться друг на друга". Чего же я хотел, если с отвращением отверг лучшее, что может дать человечество? - в ту пору я и сам еще не знал, чего хочу. Еще не научился препарировать свои желания и побуждения по всем неукоснительным правилам философии. Я взобрался на дикий утес и смотрел на море. И вдруг увидел корабль, он поднял все паруса и пытался уйти подальше от берега, но непреклонный ветер гнал его на скалы: едва заметная точка стремительно росла, корабль был все ближе, ближе. Начиналась буря; черным, как человеческое сердце, стало небо. Корабль - тяжелое военное судно - бросил все якоря, вцепился ими в дно, чтоб удержаться, чтоб не столкнуло на рифы. Ветер, адский вихрь, со свистом налетал со всех сторон, трепал и рвал в клочья паруса. Молнии, огненные стрелы, вонзались в море, грохот грома сотрясал воздух, но даже он не мог заглушить стенаний, что неслись оттуда, из ковчега смерти. Громады волн штурмовали корабль, и хоть цепи якорей выдержали их натиск, но затрещали борта, и вода победно хлынула через брешь. Вспенилась, закипела, обрушилась на палубу - и бессильно захлебнулись насосы. Пушечный залп - сигнал беды, тонет корабль... медленно и величаво... тонет... тонет... тонет... Крушение - корабль охвачен то крошечным мраком, то блеском молний; кто этого не видел, тот не знает всей силы злой судьбы. Стихия, разъяренный зверь, без устали терзает жертву, и наконец многоголосый вопль, вопль страха и страдания, взвился над кораблем. С ним вместе отлетели последние силы борющихся со стихией. Отныне каждый дал себя спеленать покорству и уповал на волю Божью. Все сбились в кучу, точно стадо перепуганных овец. Пушечный залп - сигнал беды, тонет корабль... медленно и величаво... тонет... тонет... тонет... Весь день отчаянно работали насосы. Отчаянно, но безуспешно. И пала угрюмая, густая ночь, и наступил финал сей бесподобной драмы. Исход для всех один: захлебнуться в волнах - разве что у кого-нибудь в роду были предки-рыбы и он может дышать в воде - и все же каждый готовится в последний миг набрать побольше воздуха, чтобы отбить у смерти еще хоть пару секунд - позлить ее напоследок... Пушечный залп - сигнал беды, тонет корабль... медленно и величаво... тонет... тонет... тонет... Погружаясь все глубже, он взвихряет водовороты; тяжелый ил взмывается со дна, и подводная стихия, не уступая в силе урагану, бушует и бурлит. Этого-то и не знает смертник с тонущего корабля и лишь по зрелом размышлении поймет он, что никакое самообладание ему уж не поможет и что он должен почитать за счастье,



если удастся ему в этой подводной круговерти остаться живым хоть полсекунды, использовать запас хоть на полвдоха. Увы, последнее его желанье – подтрунить над смертью – неисполнимо. Пушечный залп – сигнал беды, тонет корабль, медленно и величаво... тонет... тонет... тонет... Нет, все не так. Нет пушечных залпов, не тонет корабль. Он уже утонул, жалкая скорлупка исчезла, пошла ко дну. О небо! Изведав такое, не жалко умереть! Я упивался дивным зрелищем: предсмертной агонией своих сородичей. Жадно следил, стараясь ничего не упустить. То хриплые вопли обезумевшей старухи, то визг грудного младенца вдруг выбьются из хора, заглушая даже последние вылетающие из капитанского рупора истощенные команды. И хоть корабль был слишком далеко, чтобы за грохотом бури и воем ветра расслышать каждый голос, но силой своего воображенья, словно неким слуховым биноклем, я приближал его к себе. Когда же, с промежутками в четверть часа, налетал с гулким ревом сокрушительный шквал и вконец перепуганные буревестники разрывались от крика, и трещала по всей длине корабельная обшивка, и становились громче стенания несчастных, которых жребий предназначил в жертву смерти, слушал и вонзал себе в щеку иглу, чтобы было с чем сравнить их боль, и думал с затаенной радостью: "Они страдают во сто крат сильнее!" Я посылая им громкие проклятия, сулил им гибель, и мне казалось, что они должны, должны услышать! Я верил, что для ненависти не существовало ни расстоянья, ни акустических законов, верил, что мои слова дошли до слуха терпящих крушение и явственно звучат у них в ушах, хотя и приглушенные рокотом разгневанного океана. Я верил, что их снедает жажда мести, что они беснуются в бессильной злобе! Окрестные поселки мирно спали – я не раз оглядывал их и мог быть покоен: едва ли мне помешают насладиться гибелью всех до единого, никто не придет им на помощь, никто не знает, что в нескольких милях от берега тонет корабль, и только хищные птицы кружат над его сломанными мачтами да прожорливые морские чудища под его пробитым днищем, предвкушая добычу! Спасенья нет! Для верности я взял двустволку: вдруг кто-нибудь рискнет добраться вплавь до скал, тогда моя меткая пуля раздробит ему руку и не позволит уйти от судьбы. И точно: в самый разгар бури я заметил голову отчаянно борющегося с волнами смельчака. Его швыряло во все стороны, пенные гребни накрывали его и увлекали ко дну, он захлебывался, тонул. Но вновь и вновь выныривал, с волос его ручьями стекала вода, взор был устремлен к берегу, он, кажется, решил потягаться со смертью! Поистине прекрасное упорство! При вспышках молний было видно его лицо: отважное, благородное, с кровавой полосой – должно быть, от удара об острый подводный камень. То был юноша лет шестнадцати: первый пушок пробивался над его губой. Всего двести метров отделяли его от берега, так что мне было нетрудно разглядеть его. Какое мужество! Какой сокрушительный дух! Упрямо рассекая грудь волны, которые противились его усилиям и норовили сомкнуться над его головой, он словно бросал вызов судьбе. Но все уже было решено. Я не мог отступить от слова: все, все должны погибнуть, никому нет пощады! Я в том поклялся нерушимой клятвой... Треск выстрела – и голова исчезла, и больше ей не всплыть. Однако же эта смерть не принесла мне никакого особенного наслажденья, мне наскучило убивать; занятие это превратилось в застарелую привычку: я не мог от него отказаться, хотя давно уж притупилось удовольствие. Былая свежесть и живость чувств давно утратилась. Да и к чему смаковать смерть одного человека, когда вот-вот целая сотня их будет тонуть на моих глазах. Вдобавок это убийство было лишено даже прелести риска – людское правосудие почивало себе под теплым кровом в нескольких шагах отсюда, убаюканное завыванием ужасной ночной бури. Ныне, отягощенный бременем прожитых лет, я могу положить руку на сердце сказать – и это будет истинная правда: никогда не был я так жесток, как твердила молва, но бывало, что людская злоба безжалостно преследовала меня годами. И тогда я озлоблялся, впадал в жестокое неистовство и становился страшен для каждого, кто только попадался на моем пути, – если, конечно, он принадлежал к человеческому роду. Ибо других живых существ, будь то лошадь или собака, я не трогал, вы слышите? Не трогал никогда! Увы, как раз в ту ночь во мне разыграло буйство, разум мой помутился (обычно я бываю не менее жесток, но соблюдаю осторожность), и потому все, кому выпало повстречаться со мною, были обречены – я признаю это без всякого раскаяния. И не пытаюсь переложить вину на своих соплеменников. Просто говорю все, как оно есть, приговор же мне вынесет Страшный Суд, при мысли о котором меня заранее пробирает дрожь. Да что мне Страшный Суд! Мой разум ясен и никогда не помрачался, как я вам тут наплел для отвода глаз. Я знаю, что творю, когда свершаю преступленья – я жажду зла и только зла. Ветер трепал мои волосы, развеивал полы плаща, а я все стоял на скале над бурною пучиной вод и с ликованием взирал на вакханалию стихий и на игрушку их, корабль; ослепли звезды, очи неба, час гибели его приспел. Я с торжеством следил за тем, как



близился конец, я видел все: с той минуты, как началась схватка с ураганом, и до трагической развязки, когда морская бездна поглотила ковчег, что стал могилой для всех в нем обретававшихся. Но наконец настал и мой черед взойти на сцену и сыграть свою роль в сей пьесе, поставленной по прихоти самой Природы. Едва лишь опустело поле битвы и стало ясно, что судну предстоит навек обосноваться в самом нижнем этаже морского пансиона, все уцелевшие всплыли наверх. Они хватались друг за друга, сцеплялись по двое и по трое и таким образом как нельзя лучше помогали себе утонуть, так как мешали друг другу свободно плыть, они захлебывались и шли ко дну, как дырявые кувшины. А что там за стая чудовищ? Их шестеро, и все проворно рассекают плавниками буруны. Акулы! Минута – и все эти человеческие тела, барахтающиеся в воде, не находя опоры, превращаются в пузырячатый омлет, не менее лакомый от того, что в нем нет ни единого яйца, и шестерка сотрапезниц оспаривает друг у друга каждый кусок, лучшие же достанутся сильнейшей. Кровь перемешалась с водой, и вода перемешалась с кровью. Глаза людоедов горят ярким блеском и освещают, подобно фонарям, место кровавого пиршества. Но вот новое завихрение появилось вдали. Что-то похожее на смерч несется прямо сюда. Какая прыть! Ах, вот что! Гигантская акула-самка спешит отведать изысканного паштета да хлебнуть холодного бульона. Она голодна и потому разъярена. Она врзается в стаю сородичей, вступает с ними в схватку за куски растерзанной плоти, что застывшим ужасом торчат в кроваво-пенистой воде, как цукаты в малиновом креме. Огромные челюсти смыкаются и размыкаются, нанося соперницам смертельные раны. Но еще живы трое, и акула-великанша бешено извивается, уворачиваясь от них. А что же одинокий наблюдатель, там, на скалах, – о, он захвачен зрелищем невиданной морской баталии, волнение его нарастает. Он не сводит глаз с мощнозубой воительницы. Отбросив все колебания, он прицеливается и с обычной своею меткостью всаживает пулю точно в жабры одной из трех акул, едва лишь та на миг выпрыгивает из воды. Врагов осталось двое, но тем безудержней их ярость. И Мальдорор, чья слюна солоня, как морская вода, бросается вниз со скалы и, сжимая клинок, с коим он неразлучен, плывет туда, где словно накинута на море пестрый веселый ковер. Двое на двое – честный бой! Ловкий взмах – и Мальдорор вонзил кинжал в брюхо первой акулы. Вторую великанша без труда прикончила сама. И вот они плывут бок о бок: спаситель-человек и спасенная самка-акула. Но стоило им заглянуть друг другу в глаза, и они едва не отпрянули, встретив взор, излучающий жгучую злобу. И, плавая кругами, неотрывно глядя на друг друга, каждый думал: "Так, значит, есть на свете существо, в ком злобы еще больше, чем во мне". И наконец, в порыве восхищенья, оба разом рванулись навстречу друг другу; у акулы рули-плавники, у Мальдорора руки-весла, и оба, затаив дыханье, с благоговением и жадным любопытством глядят на собственный живой портрет, глядят впервые в жизни. Метра три осталось между ними – и тут, будто магниты, без малейшего усилья, они притянулись вплотную друг к другу и обнялись, точно нежные брат с сестрою. Прикосновение разбудило плоть. И вот уж ноги Мальдорора страстно обхватили скользкое акулье тело, прильнули к нему, точно пара пиявок, а руки сплелись с плавниками в любовной горячке; два тела, опутанных сине-зеленой морской травой, слились воедино; и под грохот бури, при блеске молний, на пенном ложе воли, как в зыбкой колыбели, подхваченные водным током, кружась и опускаясь глубже в бездну океана, влюбленные совокупились, и было их объятье долгим, непорочным и ужасным!.. Наконец-то нашел я свое подобие!.. Отныне я не одинок в этой жизни!.. Вот родственная мне душа, единомышленник! Вот моя первая любовь!

(14) Сена несет в своих волнах мертвое тело. И течение ее принимает подобающую обстоятельствам медлительность. Раздутый труп торжественно плывет по реке, подныривает под мостами и выплывает вновь, неторопливо поворачивается, как мельничное колесо, и по временам скрывается под водой. Встречный лодочник подцепляет его багром и тащит к берегу. Но, прежде чем свезти утопленника в морг, ему дадут полежать здесь, на земле: вдруг он еще очнется. Вокруг уж струдилась толпа зевак. Задним не видно, и они безбожно напирают на передних. А на уме у каждого одно: "Уж я-то не стал бы топиться". Кто жалеет юного самоубийцу, кто восхищается им, но следовать его примеру никто не собирается. Ему же, видно, казалось разумным покончить счеты с жизнью, в которой не нашел он ничего, достойного своих высоких устремлений. На вид ему лет семнадцать, не больше. В его-то годы умереть! Толпа застыла и глает молча. Но поздно. Потихоньку все расходятся... И никто не склонится к несчастному, никто не перевернет распростертое тело, чтобы вылилась наружу вода. Чинные господа в тугих воротничках – никто и пальцем не пошевелит, из страха прослыть чересчур сердобольным. Один отходит, тоненько насвистывая нечто невнятно-тирольское, другой –

прищелкивая пальцами, как кастаньетами. В ту пору по берегу реки, с мрачной думой на челе, скакал Мальдорор. Увидев тело, он не стал раздумывать. Остановил коня и прыгнул наземь. Нисколько не гнушаясь, приподнял он юношу и принялся его трясти, пока вода не полилась у него изо рта. При мысли, что он оживит это обмякшее тело, у Мальдорора сильнее забилось сердце, он заработал еще усерднее. Но все напрасно! Да-да, напрасно, верьте слову. Труп остается трупом и бессильно повисает на руках у Мальдорора, как тот его ни теребит. Однако Мальдорор упорен; не зная устали, он трет незнакомцу виски; растирает руки и ноги; целый час, уста в уста, вдвухает воздух в его легкие. И наконец как будто ощущает трепет под ладонью, что прижата к груди утопленника. Ожил! О, если бы в этот чудный миг кто-нибудь наблюдал за хмурым рыцарем, он увидел бы, как расправились морщины на его лице, как, точно по волшебству, помолодел он на десяток лет. Увы, очень скоро морщины соберутся вновь: быть может, завтра, а может, и сегодня, не успеет он удалиться от берега. Ну, а пока спасенный юноша открыл еще не вполне прояснившиеся глаза и бескровной улыбкой поблагодарил спасителя, но шевелиться он еще не мог - был слишком слаб. Спасти жизнь ближнему - прекрасное деяние! Оно одно искупает тьму прегрешений! До той минуты бронзовоустый мой герой был поглощен лишь тем, как вырвать юношу у смерти, теперь он всматривается в его черты и видит, что они ему знакомы. И в самом деле: этот едва не усопший юнец с белокурыми волосами похож на Гольцера, да уж не он ли это? Смотрите, как бросились они на грудь друг другу. И все же мой порфироглазый Мальдорор желает сохранить суровый вид. Не проронив ни слова, он усаживает друга перед собою на коня и пускается вскачь. Ну что же, Гольцер, мнивший себя столь мудрым и рассудительным, теперь ты, верно, знаешь по себе, как трудно в минуту отчаяния сохранять то самое спокойствие, которым ты гордился. Надеюсь, ты не станешь больше так огорчать меня, а я обещаю тебе никогда не покушаться на свою жизнь.

(15) Порою вшивокудрый Мальдорор вдруг замирает и настороженно вглядывается в небесный бирюзовый полог - глумливое улюлюканье некоего невидимого призрака чудится ему где-то рядом. Он содрогается, он хватается за голову, ибо то глас его совести. Как безумный, бросается он тогда вон из дому и мчится, не разбирая дороги, через морщинистые пашни. Но мутный призрак не теряет его из виду и так же быстро мчится следом. Иногда в грозовую ночь, когда стаи крылатых спрутов, издали напоминающих воронов, парят под облаками, направляя полет свой к городам, куда они посланы в предупреждение, дабы люди одумались и исправились, - в такую ночь какой-нибудь угрюмый бульжник, бывает, увидит две промелькнувшие при вспышке молнии фигуры: беглеца и того, другого, - и, смахнув слезу невольного участия с каменной одежды, воскликнет: "Наверно, кара по заслугам!" Сказав же так, вновь погрузится в мрачное оцепенение, и только с затаенной дрожью станет наблюдать за этой травлей, за охотой на человека, а также и за тем, как друг за другом вытекают из бездонного влагалища ночи чудовищные сперматозоиды - ступки крошечной мглы и поднимаются в грозовой эфир, расправив перепончатые, как у летучей мыши, крылья и застилая ими горизонт, так что даже легионы спрутов меркнут перед этой слепой и безликой лавиной. Меж тем стипл-чейз* продолжается, соперники не сдаются, и призрак изрыгает огненные струи и обжигает спину человека, бегущего быстрее лани. Грозный призрак лишь выполняет свой долг, если же путь ему преградит жалость, он хоть и сморщится брезгливо, но уступит ее мольбам и отпустит человека. Прищелкнув языком в знак того, что погоня окончена, он возвратится в свое логово и не покинет его до нового приказа. Когда душераздирающий, разносящийся по всем уголкам вселенной рев его проникнет в душу человека, тот рад скорее умереть лютой смертью, чем терпеть муки совести. Он пробует зарыться поглубже в землю, но эта страусиная уловка не спасет его от совести. В один миг, как капля летучего спирта, испарится его земляное убежище, в нору ворвется свет, падут, как стая куликов на заросли лаванды*, острые стрелы лучей, и бледный человек окажется лицом к лицу с самим собой. Однажды на моих глазах такой несчастный помчался к морю, вскарабкался на утес, исхлестанный гривастыми волнами, и бросился вниз головой в бездну. Наутро тело всплыло, и волны прибили его к берегу. И вдруг, о чудо! - вчерашний утопленник воспрял, оставив отпечаток на песке; отжал промокшие волосы и, мрачно потупившись, пошел своей дорогой. Да, совесть строго судит слова, дела и даже потаенные наши мысли, ее не обмануть. Но поелику предупредить зло часто не в ее силах, она ожесточенно травит человека, как охотник травит лису, наипаче усердствуя ночью. Во мраке ее глаза - ученые по неведению называют эти светочи метеорами - горят зеленым огнем, она вращает ими, она произносит таинственные слова, но смысл их вятен человеку! И он

мечется без сна на своем ложе и со страхом вслушивается в зловещее дыхание тьмы. Сам ангел, что бдит у его изголовья, сражен наповал камнем, метко пущенным невидимой рукою, и, оставив свой пост, бежит на небеса. Но на сей раз я, ниспровергатель добродетелей, стану заступником человека, - я, тот самый Мальдорор, кто однажды, в достопамятный для Творца день, низверг небесные анналы, оскверненные гнусною ложью о мнимом Его всесии и бессмертии; кто впился ему в подмышки своими щупальцами о четырехстах присосках, так что он зашелся страшным криком. Вылетая из уст его, крики эти превращались в гадюк, и полчища гадючьих падали на землю и хоронились кто где: под колючими кустами, под замшелыми камнями, чтобы днем и ночью стережь добычу. Вопли воплотились в гадюк, чешуйчатые плети переплелись, змеи с расплюснутыми головками и злобными глазками поклялись погубить невинность, сжить ее со свету, и отныне не дадут ей ступить ни шагу; лишь только забредет она в песчаные дюны, каменные руины, заброшенный сад, как спешит скорее повернуть вспять. И хорошо, коли это ей удастся, иной же раз не успеет невинный человек отойти от опасного места, как чувствует, что яд от крошечного, незаметного укуса на ноге уже коварно проник в его кровь. Поистине трезвость мысли никогда не изменяет Создателю: из собственных мучений и то сумеет он извлечь выгоду, даже их сумеет обратить на погибель своим чадам. Но как же он вострепетал, узрев перед собою Мальдорора в обличье спрута, нацелившего на него все восемь исполинских щупалец, из коих каждое могло бы, точно жгут, обвить собою всю планету. Поначалу захваченный врасплох Творец еще пытался вырваться из студенистых, сжимающих его тело с нарастающею силою объятий, потом затих... но я опасался подвоха и потому, напившись вдоволь священной крови, отпрянул от своей почтенной жертвы и ускользнул в пещеру, что служит мне пристанищем и ныне. Сколько ни искал разгневанный Господь, он не нашел меня. С тех пор прошло уж много времени, я полагаю, что мое убежище давно уже не тайна для него, однако же войти в мою пещеру он не смеет; и мы живем бок о бок, точно враждующие короли сопредельных стран, уставшие от бесполезных войн, в которых не победить никому, ибо силы равны. Он остерегается меня, как я его, и хотя никогда ни один из нас не был побежден другим, каждый не раз испытал, на себе силу нротивника и воздерживается от нападения. Но я готов возобновить борьбу, как только будет угодно моему недругу. И пусть не ждет удобного случая, чтобы взять меня хитростью. Я бдительно слежу за ним. И пусть не посылает на землю совесть с ее пытками. Я научил людей, как без труда справляться с нею. Возможно, они еще не успели понатореть в сем искусстве, но уж для меня-то, как тебе должно быть из вестно, совесть - не большая помеха, чем солома, которую играет ветер. Такой же пустяк. Впрочем, пожелай я углубиться в поэтические тонкости, я бы сказал, что солома представляется мне все же предметом более значительным, чем совесть, от нее есть прок - она годится скоту на жвачку, тогда как от совести проку никакого, она только и умеет, что выпускать свои стальные когти. Однажды она было хотела попробовать их на мне, но потерпела позорное поражение. Я не позволил ей преградить мне путь, так как она была послана Господом. Прояви же она смирение и кротость, каковые приличествуют ее сути и от которых не след ей было отречься, - и я бы выслушал ее. Заносчивость же мне не по нраву. Одной рукой я обломал ей когти, сжал в кулаке и стер их в порошок, как в ступке. Другою - оторвал ей голову. После чего кнутом прогнал прочь эту двуличную особу и более никогда ее не видел. Но голову сохранил в память о своей победе... Вгрызаясь в темя мертвой головы, не выпуская ее из рук, вскарабкался я на кручу и замер, точно цапля, на одной ноге над пропастью, затем спустился вновь в долину, и что же, глядите: крепка и бестрепетна грудь моя, как хладный гранит саркофага! Вгрызаясь в темя мертвой головы, не выпуская ее из рук, нырнул я в пучину вод, скользнул меж погибельных скал и, опустившись в глубину, ласкал свой взор отменным зрелищем: глядел, как бились меж собою морские чудища; я заплыл далеко от берега, так далеко, что даже зоркий глаз мой не различал его, и мерзкие спазмейки, что насылают паралич, так и вились вокруг, но не смели коснуться моих рук или ног, могучими гребками преодолевавших волны. И снова вернулся я на берег, и что же, глядите: крепка и бестрепетна грудь моя, как хладный гранит саркофага! Вгрызаясь в темя мертвой головы, не выпуская ее из рук, я шаг за шагом одолел ступени высочайшей в мире башни. Ноги мои подгибались от усталости, но я взошел на самый верх. Оттуда, с головокружительной высоты, обозрел я равнину и море, солнце и небосвод, а затем оттолкнул башню мощной пятою (она, однако, устояла) и, презирая смерть и божью кару, с победным воплем прыгнул камнем вниз и полетел в разинутую глотку пустоты. Люди внизу услышали тяжкий, гулкий грохот - то грянулась о землю голова - я уронил ее, пока летел. Меня же подхватило невидимое облако, и я опустился плавно, точно паря на птичьих

крыльях, и снова подхватил мертвую голову, дабы она могла узреть тройное злодеянье, которое я намеревался свершить теперь же; и что же, глядите: крепка и бестрепетна грудь моя, как холодный гранит саркофага! Вгрызаясь в темя мертвой головы, не выпуская ее из рук, направил я свои стопы туда, где возвышалась гильотина. И живописно уложил под нож три гибких выи трех прелестных дев. Рукою мастера заплочных дел (станешь мастером, когда такая жизнь за плечами!) я дернул шнур, и треугольный нож упал, скосив все три главы, взиравших на меня с смирением и лаской. Вслед за этим я подложил под смертоносное лезвие свою собственную голову, и другой палач взялся за дело. Трижды падал исполинский нож, трижды поднимался и, набрав высоту, вновь скользил вниз; трижды весь мой костяк, а более всего основание шеи жестоко сотрясались под ударом, как в страшном сне, когда пригрезится, что на тебя обрушились стены дома. Когда же, цел и невредим, я сошел с эшафота, изумленные очевидцы попятились передо мною, и, прокладывая локтями путь в кольшущемся людском море, я пошел с высоко поднятой, несломленную голову - и что же, глядите: крепка и бестрепетна грудь моя, как холодный гранит саркофага! Я обещал, что на сей раз вступлюсь за человека, но боюсь уклониться от истины, а потому умолкаю. И благодарное человечество будет восторженно рукоплескать этому столь своевременно проснувшемуся чувству меры!

(16) Пора, пожалуй, мне несколько умерить воображение и сделать передышку, подобно тому как, бывает, замрешь вдруг посреди любовных утех, вперившись взором в женское лоно; полезно обозреть достигнутое, а уж потом, набравшись новых сил, мощным рывком устремиться к цели. Преодолеть весь нуть единым махом - задача не из легких; в долгом полете, когда не манит надежда и не гонит раскаянье, лишь утомятся крылья. Так уйдем же на время разъяренную свору зубил и заступов, не станем углубляться в гремучие недра сей нечестивой песни! Она подобна зловонному потоку блевотины, извергшейся из пасти крокодила, который уж и сам не волен изменить в ней хотя бы слово. А если кто-нибудь, движимый похвальным намерением отомстить за незаслуженно обиженное мною человечество, откроет потихоньку мою дверь, неслышно, как крыло альбатроса, скользнет вдоль стены и вонзит кинжал в бок осквернителя священной рухляди, - что ж, пусть! Из праха вылеплена плоть моя и рано или поздно распадется в прах.

Песнь III

(1) Как звали тех ангелоподобных, тех озаренных внутренним сиянием существ, что рождены моей фантазией и оживлены моим пером во второй песне? Едва появившись на свет, они гаснут, как искры, что пробегают по краю обгоревшей бумаги и исчезают прежде, нежели глаз успеет уследить за ними. Леман!.. Лоэнгрин!.. Ломбано!.. Гольцер!.. Украшенные всеми дарами цветущей юности, лишь на миг промелькнули вы в моем царстве грез и вновь, послушные моей воле, погрузились во мрак, как водолазы в колоколах погружаются в морские глубины. Вам больше не воскреснуть. Довольно и того, что вы оставили след в моей памяти, теперь же вам на смену явятся другие, хоть, может быть, не столь прекрасные, предметы моей неистойвой любви, которую не могут утолить живые люди. В голодном раже она пожрала бы сама себя, когда б не находила пищи в волшебных миражах; настанет время - она наплодит целый сонм эфирных духов, которых будет больше, чем микроскопических тварей в капле воды, и которые плотным кольцом завихрятся вокруг нее. Случись на ту пору рядом одинокий странник, он замрет в смущенье перед подобьем пенноструйного водопада; вглядевшись же, различит вдали нечто необычайное: человека, влекомого в бездну преисподней живой цепью летучих камелий! Но... тише! Вот робко и неясно, как проблески зари на небе севера, забрезжил в смутных глубинах моего сознания образ следующего, пятого по счету кумира, вот он стучается, становится отчетливой...

Мы с Марио мчались берегом реки. Наши кони вспарывали плотный воздух, неслись, вытянув шеи и высекая искры из камней, что попадали под копыта. Ветер бил нам в лицо, запутывался в наших плащах и развевал наши волосы, мы походили друг на друга, точно пара близнецов. И чайка с тревожным криком металась, пророча грозу. "Куда спешат они, куда стремят свой бешеный галоп?" - вопрошала она. Но мы, как зачарованные, не чуя ничего вокруг, предавшись



воле неистовых скакунов, безмолвно летели вперед; и встречный рыбак при виде всадников, подобных быстрокрылым альбатросам, спешил осенить себя крестным знаменем и укрыться вместе с жалобно скулящим от страха псом в ближайшей пещере, уверенный, что это "заколдованные братья", прозванные так потому, что всегда неразлучны. На побережье ходят легенды об этих загадочных всадниках, рассказывают, будто их появление всякий раз предвещает великие бедствия: кровавую войну, что заносит грозную секиру над головами соседствующих народов; или холеру, что простирает смертоносную десницу над многолюдными городами. Почтенные старцы, не первый десяток лет грабящие суда, что терпят крушение у здешних берегов, говорят, значительно хмуря брови, что эти два призрака, испокон веков рекущие в бурю над дюнами и рифами на своих широчайших черных крыльях, суть дух земной тверди и дух морской хляби, являющие миру свое величие в часы, когда бушуют стихии, и повергающие в изумление каждое новое колено человеческого рода. Прибавляют еще, будто обычно они парят крыло к крылу, как кондоры в скалистых Андах, описывая круги возле самого солнца, где чистейшие флюиды света служат им пищей, и лишь с великой неохотой спускаются с небесных высей к ненавистной орбите, по которой мечется, как в лихорадке, злосчастная планета, населенная кровожадными созданными, что беспрерывно истребляют друг друга на поле брани под вой и рев жестокой сечи (а то и по-иному: в мирных городах, коварно и тайком вонзая в сердце ближнему клинок жестокой ненависти или зависти) да безжалостно пожирают других тварей, которые хоть и являются существами низшего порядка, но так же, как они, наделены даром жизни. Если же порой, восплавав желанием склонить людей к раскаянью своим пророческим глаголом, они решительными гребками направляются по волнам звездного океана туда, где мельтешит пресловутая планета, едва заметный издали шарик, окутанный густым смрадом, исходящим от него, как от помойной ямы, - смрадом, в котором смешались жадность, гордыня, злорадство, порок, - то им довольно скоро приходится раскаяться в своем благом порыве; отринутые и освистанные, спешат они укрыться в недрах вулканов, где им ласкает слух рев пламени, бурлящего в подземных чанах; или на морском дне, где их истерзанный взор отдыхает на хищных чудющах глубин, что кажутся кротчайшими созданными в сравнение с племенем двуногих вырожденцев. Когда же опускается благодетельная ночь, они устремляются наружу из увенчанных порфиристым гребнем кратеров или из черных морских бездн, уносятся ввысь, оставляя позади землю, сей горшок в шипах и зазубринах, где ерзает в мучительных потугах голый зад человечества, подобного стае крикливых какаду, и не оглядываются, пока этот подвешенный в пространстве стукот мерзости совсем не скроется из глаз. Тогда, удрученные неудачей, среди братски-соболезнующих звезд и пред всевидящим Господним оком, рыдают, тесно обнявшись, два ангела: дух тверди и дух хляби!..

Два всадника, Марио и его мрачный спутник, конечно же, знали о суеверных слухах, которые шепотом передают друг другу местные рыбаки, теснясь у камелька, при затворенных ставнях и дверях, меж тем как студеной ветер ночи с воем вьется вокруг убогой хижины и просится в тепло, и сотрясает стены, что понизу обложены ракушками, предсмертными дарами волн. Но мы молчали. К чему слова двум любящим сердцам? В них нет нужды. Их заменяет взгляд. Вот глазами я ж сказал ему, чтобы он поплотнее укутался в плащ, а он мне - что мой скакун чуть вырвался вперед, мы оба переполнены заботой друг о друге, и обоих нас терзает скорбь. Вот мой Марио силится улыбнуться, но я-то вижу, как омрачено его лицо тяжелыми и неотступными раздумьями о сфинксовых загадках бытия, коварно заводящих в тупик умы пытливых смертных. Поняв, что ему меня не обмануть, он потупился и, с пеною у рта прикусив свой язык, устремил тоскливый взор на бесконечную дорогу и ускользающий горизонт. Я тоже силюсь подбодрить его, говорю, что он еще совсем юн, а юность - золотая пора, юность подобна королеве, чьи дни протекают в чудесных дворцах среди беззаботных наслаждений, но Марио видит, с каким трудом мои поблекшие уста выдавливают эту ложь, он знает: моя собственная юность, унылая, холодная, прошла, как безотраднейший сон, и всюду: на пирах и на атласном ложе усталой жрицы сладострастья, что куплена за горсть монет, - мне было уготовано все то же: горький хмель разочарования, постыдные морщины ранней старости, отчаяние одиночества и обжигающие угли боли. Поняв, что мне его не обмануть, я явственно представил Вседержителя в кровавом блеске ужасающих орудий пытки, потупился и устремил свой взор на бесконечную дорогу и ускользающий горизонт... А два коня летели вскачь, спасаясь от людского взгляда. Мой Марио так юн, ночная сырость и долетающие с берега соленые брызги леденят его губы. "Будь осторожен! - заклинаю я. - Будь осторожен! Сожми скорее губы: гляди, они растрескались, как будто их исцарапали до крови злые когти". Но бестрепетно взирает он на меня и отвечает, не сжимая и не раздвигая губ. "О да, я вижу эти когти, но



противиться им не стану и даже не пошевелю губами. Вот так: смотри и убедись. Раз это воля Провиденья, я покорюсь. Пусть устыдится, глядя на меня, убожества своей фантазии". – "Возвышенная месть!" – воскликнул я. Что оставалось, как не рвать на себе волосы, и я уж было принялся, но строгий взор его остановил меня, и я почтительно повиновался. Уже совсем стемнело, уже орел пронесся над нашими головами, возвращаясь в свое гнездо в расщелине скалы. И тогда Марио сказал: "Возьми мой плащ, укройся от стужи, а я обойдусь и так". Но я вскричал: "Не смей и думать! Я не позволю, чтобы вместо меня страдал кто-нибудь другой и уж тем более ты!" Он промолчал, ибо я был прав, но в душе я укорял себя за излишнюю резкость... А два коня летели вскачь, спасаясь от людского взгляда... Но вот я встрепенулся, как челнок, подброшенный высокою волною, и воскликнул: "Ты плачешь? Ответь мне, о мой принц холодных снегов и жемчужных туманов. Хоть на твоём лице, прекрасном, как цветущий кактус, нет слез и сухи, как дно пересохшего озера, твои веки, но в глубине твоих глаз я вижу чан, наполненный кипящей кровью, а в нём – твоя невинность, и в горло ей вцепился ядовитый скорпион. Порывы ветра раздувают пламя под котлом, и языки этого мрачного огня вырываются наружу. Так что, наклонившись было к тебе, я тут же и отпрянул, почуяв запах гари – то вспыхнули волосы у меня на голове. Скорей закрой глаза, иначе лицо твоё жидкою лавой стечёт в мои раскрытые ладони". И Марио повернулся ко мне всем телом – натянутые поводья ему не помешали – устремил на меня нежный взор и долго глядел, помаргивая кротким веком с мерностью набегающих и отступающих волн прибоя. И вот что он ответил: "Успокойся. Твоя тревога подобна туману, что клубится над рекой: он поднимается по склонам холмов, а, достигнув вершины, стучается и уплывает в небо причудливыми облаками; так и твои опасенья мало-помалу и без всякой причины разрослись и обратились в чудовищный мираж, реющий в твоём воображенье. Нет никакого огня в моих глазах, хотя мне в самом деле кажется, будто голова моя втиснута в раскаленную железную каску. Неправда, что моя невинность погружена в кипящий котел, хотя мне в самом деле слышатся глухие стоны, но, верно, это завывает ветер. Не может быть, чтобы в моих глазницах угнездился скорпион и больно жалил нерв, хотя мне в самом деле больно, словно кто-то мощными щипцами рвет глаза. И только в одном ты не ошибся: тот чан действительно наполнен моею кровью – прошлой ночью, пока я спал, невидимый палач выпустил ее из моих жил. Я ждал тебя, возлюбленный сын океана, долго ждал и почти заснул, так что, когда тот, другой, проник в мой дом, мои ослабевшие руки не выдержали схватки с ним... О да, душа моя заперта на засов в тесной каморке тела и не может вырваться, чтобы навек покинуть берега угрюмого моря человеческих страстей, чтобы не видеть больше, как мерзостная свора забот и бед неумолимо преследует людские табуны, точно стада быстроногих серн, и загоняет их в непролазные топи да на крутые обрывы, которыми изобилует томительный путь земной. Но все равно, я не стану роптать. Дар жизни – что удар кинжала, и я мог бы легко залечить эту рану, наложив на себя руки, но поклялся не делать этого. Пусть каждый час нескончаемой вечности моя отверстая грудь будет перед глазами Творца. Так я желаю наказать его. Однако наши железные кони, кажется, замедлили бег, они дрожат, как охотник перед клыками злобных кабанов. Им вовсе незачем прислушиваться к нашим речам. Внимание разовьет в них разум, не ровен час, они научатся нас понимать. И им придется худо. Разве не убеждает в этом пример людей, которым пришлось заплатить за разум, пусть он и выделяет их среди прочих божьих тварей, бесчисленными страданиями? Вонзи же, как и я, серебряные шпоры в лошадиные бока..." А два коня летели вскачь, спасаясь от людского взгляда...

(2) Глядите, идет полоумная нищенка, – идет, приплясывает на ходу, бормочет что-то несуразное. Дети швыряют в нее камнями, как в гадкую черную птицу. Она же грозит им клюкою, распугивает да бредет себе дальше. Башмак свалился с ее ноги и остался где-то на дороге – она и не заметила. Спутанные патлы на затылке, похожие на клубок пауков, – это ее волосы. Ни проблеска сознания в лице, а смех ее – хохот гиены. Обрывки слов срываются с ее уст, но мало кто мог бы составить из них нечто осмысленное. Дранный подол хлещет ее по костлявым, забрызганным грязью лодыжкам. Она похожа на лист, сухой тополевыи лист; слепой инстинкт, как равнодушный ветер, влечет ее по жизни, и лишь в глубинах помраченного рассудка мерцают тусклые воспоминанья. Былая красота исчезла, милой женственности нет и следа, она ковыляет, шаркает, винным перегаром смердит ее дыхание. И раз такое возможно на этой земле, то надо ль удивляться, что в нашем мире нету счастья! Но жалоб и упреков от нее никто не слышал, она горда, она не станет отвечать на расспросы любопытных, она унесет свою тайну в могилу. Дети швыряют в нее камнями, как в гадкую черную птицу... Какой-то свиток выпал на дорогу из складок рубища. Его

подобрал случайный прохожий, отнес домой и читал всю ночь напролет. И вот что он узнал: "У меня долго не было детей, пока наконец Провидение не послало мне дочь. Три дня на коленях благодарила я Господа, услышавшего мои молитвы. Я выкормила девочку грудью, и она стала мне дороже жизни. Малютка росла не по дням, а по часам, и я нарадоваться не могла, глядя, как она хорошеет и умнеет. "Жаль, что у меня нет сестренки, - часто говорила она мне, - мы бы играли с ней вдвоем. Попроси Боженьку, пусть pošлет мне сестренку, а я за это сплету ему веночек из фиалок, мяты и герани". В ответ я крепко обнимала и нежно ее целовала. Ей нравились звери и птицы, и она спрашивала, отчего ласточки только спуживают близ стен человеческих жилищ, но никогда не залетают внутрь. Но я лишь прижимала палец к губам, как будто то была великая тайна, - я не хотела прежде времени ранить ее детскую душу и спешила отвлечь ее от предмета, тягостного для каждого, кто принадлежит к племени людей, неправедно утвердившему свое владычество над прочими живыми существами. Она любила гулять на кладбище, где так чудесно пахнут кипарисы и бессмертники, и я не перечила ей, я говорила, что кладбище - это птичий город, днем жители его поют, порхают по деревьям, а на ночь забираются под каменные плиты, где у них устроены гнездышки и живут маленькие детки. Я сама шила для нее платьица, сама плела затейливые кружева для праздничных нарядов. Зимними вечерами она чинно, как большая, сидела у камина, а летом ее легкие ножки ласкали гладь лугов, она гонялась с шелковым сачком за вольными колибри и капризными бабочками. "Где ты, бродяжка? Суп дожидается тебя целый час, и ложка скучает без дела у тарелки!" - журила я ее. Она бросалась мне на шею и обещала, что больше никогда не опоздает. Но на другой же день вновь убегала на залитые солнцем поляны, где стлались под ноги ромашки с резедой и плясали над землей беспечные поденки. Ей были ведомы лишь радужные покровы жизни, глубин же, напоенных желчью, она пока не знала и потому резвилась, как котенок, кичилась пред синицей - ведь та была совсем мала, насмеялась над кукушкой - зачем та не умеет петь по-соловьиному, показывала исподтишка язык противному ворону, а тот отечески поглядывал на несмышляньша. Но недолгой была моя радость, близился час, когда померк для моей девочки божий мир, исчезло все, что тешило ее, и она больше не услышала воркованья веселых горлиц, лепета тюльпанов и анемонов, неспешного шепота болотных трав, задорной перепалки лягушек и прохладного плеска ручьев. Увы, меня не было с нею рядом, и мне обо всем рассказали люди. Я не дала бы умереть моей дочке, моему невинному ангелу, я скорее умерла бы сама... Это был Мальдорор, это он, гуляя со своим бульдогом*, увидел спящую в тени платана девочку, которую вначале принял за цветок. Злой замысел созрел в его уме едва ли не быстрее, чем глаз успел узреть дитя. Он деловито, не теряя времени, разделся. Оставшись наг, как червь, накинулся на девочку, задрал ей платье и приготовился лишиться ее невинности... и это среди бела дня! Ему неведом стыд!.. И гнусное деяние - описывать его нет сил - свершилось. Но этого злодею показалось мало: одевшись и настороженно оглядев пустынную дорогу, он подозвал бульдога и приказал схватить железной хваткой и задушить несчастное дитя. Но, показав то место, где лежит стонающая жертва, он сам поспешно отошел, чтобы не видеть, как острые бульдожьих зубы вопьются в розовые вены. Но пес... пес ужаснулся приказу. И решил, что не понял, что хозяин, верно, хочет, чтобы он проделал то же, чему он сам был только что свидетелем, и это чудовище, это мордастое пугало еще раз надругалось над хрупким детским тельцем. Вновь облагрили траву кровавые струи. Вновь громко стонет малютка, и насильник-пес рыдает с нею вместе. Дрожащею рукой она вытягивает перед собой золотой нательный крестик и умоляет пощадить, - прибегнуть к этому заступничеству раньше она и не пыталась, как будто знала, что распятие не остановит святотатца, который посягнул на беззащитного ребенка. Но псу был ведом нрав хозяина, он знал, что ждет его за неповиновение: взмах хозяйской руки - и пущенный ловким броском нож вонзится ему в брюхо. Конечно, Мальдорор - о, это проклятое имя! - слышал крики смертельных мук и не мог не подивиться, до чего живучей оказалась жертва. Он вернулся к месту заклания - и что же видит: его бульдог во власти похоти, и задранная морда над распростертым телом болтается, как голова утопающего, которую захлестывают волны. Что есть силы пнул Мальдорор песью голову и вышиб бульдогу глаз. Обезумев от боли, пес рванулся прочь, увлекая за собою безжизненное тело, которое ташилось за ним по земле - пусть только несколько секунд, но и это слишком много, пока, мощными скачками набрав скорость, пес не стряхнул его. Он не осмелился напасть на хозяина, но покинул его навсегда. Меж тем Мальдорор достал из кармана американский ножик с дюжиной лезвий на все случаи жизни. Раскрыв их все, он превратил свое оружие в стальную гидру с негнушными лапами; и, видя, что еще не вся поляна затоплена кровью, взмахнул своим диковинным ланцетом и вонзил его в

истерзанное лоно девочки. Вспорол ей живот и вырвал все внутренности поочередно; легкие, печень, кишки, а под конец и сердце через чудовищный разрез извлек на свет. Однако же, заметив, что несчастная, которую он потрошил, как хозяйка цыпленка, давно мертва, умерил пыл и скрылся, оставив тело девочки под тенистым платаном, на том же месте, где нашел ее уснувшей. Там ее и нашли, а неподалеку валялся раскрытый ножик. Убийца оставался неизвестен, пока не объявился некий пастух, видевший все своими глазами, но молчавший до тех пор, пока не убедился, что злодей уже пересек границу и не станет мстить ему за разоблачение. Мне жаль безумца, совершившего сие неслыханное преступление, не предусмотренное никаким законодательством. Мне жаль его, ибо он, скорее всего, был не в своем уме, когда ножом о двенадцати лезвиях кромсал кишки и жилы. Мне жаль его, ибо если он все-таки в здравом рассудке, то лишь неистовая ненависть к себе подобным могла ожесточить его настолько, чтобы он бросился терзать такое безответное создание, как мое невинное дитя. Покорно и молчаливо смотрела я, как предают земле останки дочери, и с той поры каждый день прихожу молиться на ее могилу". На этом рукопись кончалась, и, дочитав ее, прохожий, подобравший свиток на дороге, упал без чувств. Придя ж в себя, поспешно сжег бумагу. Он забыл, он совсем забыл об этом случае из своей молодости (их было столько, все и не упомнишь!) и вдруг теперь, спустя двадцать лет, вновь очутился на месте кровавого подвига. Но теперь уж он не станет заводить бульдога!.. Не станет заговаривать с местными пастухами!.. И ни за что не станет спать в тени платанов!..

Дети швыряют в нее камнями, как в гадкую черную птицу.

(3) В последний раз коснулся Тремдаль руки добровольного изгнанника, вечно бегущего от вечно преследующего его призрака Человека... Точно Вечный Жид, скитается он по белу свету и знает, что давно бы обрел покой, когда бы скипетром царя природы был наделен, к примеру, крокодил. Тремдаль стоит в ложине, прикрыв глаза ладонью от яркого солнца, и жадно смотрит на друга, а тот идет, подобно слепому, ощупывая вытянутой рукою пустоту. Подавшись вперед и застыв – изваяние скорбного брата, – Тремдаль не отрывает взгляда своих бездонных, точно океан, очей от пары кожаных гетр, мелькающих вдаль, – то карабкается по крутому склону, опираясь на окованную железом трость, одинокий странник. И Тремдаль готов лететь за ним вслед, не в силах сдержать ни льющихся из глаз слез, ни рвущихся из груди чувств.

"Он уже далеко, – думает Тремдаль, – вон крохотная фигурка на узкой тропе. Куда направил он свои стопы? Бредет наугад... Но... уж не сплю ли я? – нет-нет, я ясно вижу: что-то черной тучей надвигается на Мальдорора! Дракон! Огромный, как парящий в воздухе столетний дуб! Взмахи белесых суставчатых крыльев на удивление легки – не иначе как в них стальные жилы. Тигриный торс, змеиный хвост. Сроду не видывал такого страшилища. И надпись на лбу. Какие-то таинственные знаки, которых мне не разобрать. Еще один могучий взмах крыла – и вот он рядом с Мальдорором, рядом с тем, чей голос запечатлен в моей душе навеки. "Я ждал тебя, – сказал дракон, – мы оба ждали встречи. Час пробил, я явился. Прочти иероглифы на моем челе, и ты узнаешь мое имя". Но Мальдорор, едва завидев врага, преобразился в огромного орла и, изготовясь к бою, нацелившись на хвост дракона и предвкушая лакомую добычу, защелкал хищным клювом. Приглядываясь да примериваясь друг к другу, противники описывают в воздухе круги, все уже, уже, как должно перед схваткой. Насколько я могу судить, дракон сильнее, и я желал бы, чтобы победа досталась ему. Дрожь бьет меня – ведь в этот поединок вовлечена частица моего существа. Я стану ободрять тебя криками, о могучий дракон, я сделаю это ради орла, ибо поражение будет для него благом. Чего же оба ждут, зачем не начинают битву? Меня снедает нетерпенье. А ну, дракон, вперед! Ага, ты зацепил орла когтями за крыло, отлично! Ему пришлось несладко, гляди, как разлетаются во все стороны перья, его гордость! Эх! Он вырвал тебе око, а ты лишь расцарапал ему грудь – так не годится! Bravo! отыграйся теперь ты, сломай ему крыло, покажи крепость твоих тигриных зубов! Теперь бы наподдать ему еще, покуда он летит на землю вверх тормашками! Но орел, даже поверженный, внушает тебе трепет. Вот он упал и больше не взлетит. Он весь в кровавых ранах – да возликует мое сердце! Дракон, спустись пониже, хлещи его чешуйчатым хвостом, прикончи, если сможешь. Смелей, мой славный дракон, вонзай поглубже свирепые когти, пусть струи крови сливаются в бурлящие ручьи – ручьи, в которых нет ни капли воды. Увы, легко сказать, да трудно сделать. Орел хитер и даже в столь тяжком положении сумел придумать оборонительный маневр. Уселся, растопырив хвост, что служил ему прежде рулем, и прочно опершись на лапы и невредимое крыло. Теперь ему нипочем любые удары, хоть бы они превосходили все прежние атаки. Тигриным лапам не застать его врасплох:

стремительно и без устали уворачивается он от них, а не то опрокидывается навзничь и, выставив устрашающие когти, насмешливо глядит на врага. С грозным видом подскакивает орел, так что сотрясается земля, он хочет напугать дракона, хоть знает, что ему уже не оторваться от земли. А дракон все опасается, как бы враг не налетел на него со стороны слепого глаза... Ах, я глупец! Ведь так и получилось! Как мог дракон подставить грудь?! Теперь уж не спасет ни хитрость, ни сила, орел прильнул к нему, вцепился, как пиявка, нечувствительный к новым ударам, которыми осыпает его противник, и, расклевав его чрево, засунул голову до самой шеи внутрь. Он не торопился выныривать. Он словно что-то ищет, а дракон-тигроглав страшным ревом оглашает окрестные леса. Но вот из прорытой в драконьем теле норы показалась голова. Орел кровавый, кровью обгаренный, о, как ты страшен! И хоть сжимаешь в клюве трепещущее сердце врага, но сам изнемогаешь от ран и шатаешься на ослабевших лапах, дракон же хрипит и бьется рядом, хрипит и выпускает дух. Ну что ж, от правды не уйдешь: ты победил, хотя победа далась нелегко... Дракон убит, орлиный облик больше ни к чему, и ты вполне законно принимаешь прежний вид. Итак, свершилось, ты победитель, Мальдорор! Свершилось: ты убил Надежду! Отныне холодное отчаяние станет точить тебя и питаться твоею плотью! Отныне тебя ничто не остановит, и ты без оглядки пустишься стезею зла! На что уж я пресыщен зрелищем мучений, но боль, которую ты причинил дракону, передалась и мне. Ты видишь сам, как я страдаю! И ныне я боюсь тебя. Глядите, глядите, люди, на этого, уходящего вдаль! Семя порока нашло в нем благодатную почву и породило пышное дерево, он проклят и несет проклятье каждому, кого коснется. Куда ты держишь путь? Куда идешь неверным шагом, точно сомнамбула по гребню крыши? Да свершится участь твоя, нечестивец! Прощай же, Мальдорор! Прощай навек, нам, более не свидеться с тобой ни в этой жизни, ни за гробом!"

(4) Стоял погожий весенний день. Птицы небесные распевали на все голоса ликующие песни, а люди предавались бесчисленным работам, обливаясь святым потом тружеников. Все в природе: планеты, деревья, морские хищники - прилежно выполняло свой долг. Все, кроме самого Творца! В рваных одеждах валялся он на дороге*. Нижняя губа его отвисла, приоткрыв давно не чищенные зубы, пряди золотистых волос разметались в пыли. Тело, скованное тяжким оцепенением, распростерто на камнях, и тщетны все попытки встать. Он лежал, лишенный сил, беспомощный, как червяк, и бесчувственный, как пробка. Порою дрожь пробегала по его плечам, и тогда ручейки из винной лужи затекали под спину. Свинорылое скотство заботливо сомкнуло над ним свои крылышки и умиленно на него взирало. Ноги, огромные, как корабельные мачты, бессмысленно скребут дорогу, не находя опоры. Падая, он угодил лицом в столб, и кровь течет из его ноздрей... Он пьян! Постыдно пьян! Как клоп, что высосал три бочки крови за ночь! И эхо разносило по округе разнузданную брань, которой я не смею повторить, ибо еще не дошел до такого бесстыдства, как этот божественный забулдыга. Всевышний пьян - кто б мог поверить?! Святые губы лакали из чаши хмельного застолья - возможно ль! Пробегал мимо еж и вонзил ему в спину свои иглы и сказал: "Вот тебе. Солнце стоит высоко в небе, встань же, бездельник, встань и трудись, кормись своим трудом. Вставай, не то позову жесткоклювого какаду - узнаешь тогда, почем фунт лиха!" Пролетали мимо филин да дятел и долбанули его что есть силы клювами в живот, и сказали: "Вот тебе. Что тебе понадобилось у нас на земле? Хочешь, чтобы звери полюбовались на твое непотребство? Так знай же, твой пример не соблазнит никого: ни казуара, ни фламинго, ни крота". Проходил мимо осел и лягнул его копытом в висок, и сказал: "Вот тебе. За что наградил меня такими непомерно длинными ушами? Все, до самой последней козявки, смеются надо мною". Скакала мимо жаба и плюнула ему в глаза ядовитую слизью, и сказала: "Вот тебе. Если бы ты не сделал меня такой пучеглазой, я сейчас лишь целомудренно прикрыла бы тебя цветами: нарциссами, камелиями, незабудками, - чтобы никто не видел твоего позора". Проходил мимо лев и склонил свою царскую гриву, и сказал: "Пусть величие его на время затмилось, я все же чту его. Вы же, мнящие себя гордыми смельчаками, просто жалкие трусы, ибо хулите и пинаете спящего. Каково было бы вам самим терпеть от каждого такие оскорбления?" Проходил мимо человек и остановился перед Господом и, не признав его, на радость вшам да гадам три дня прилежно орошал зловонной жижей пресветлый лик. Будь же проклят, человек, за эту низость, за то, что надругался над врагом, застав его поверженным, в грязи, залитым кровью и вином, беспомощным, почти что бездыханным!.. Но наконец, разбуженный всей этой пакостной возней, Господь с трудом поднялся, шатаясь, сделал несколько шагов и зашагал к придорожному валуну. Бессильно, как яички чахоточного импотента, болтаются его руки, бессмысленным мутным взором озирает он

подлунный мир, свое владенье. О люди, неблагодарные чада, заклинаю вас, пожалейте своего владыку, взгляните на него: еще не выветрились винные пары, и он, едва добравшись до желанного камня, рухнул на него, как путник, утомленный долгой дорогой. Но вот подходит нищий и видит поникшего странника с протянутой рукою, и, не задумываясь, кто он, кладет кусок хлеба в эту молящую о милостыни ладонь. И признательный Господь слабо кивает ему. Не спешите судить о Боге, смертные, разве ведомо вам, каких усилий стоит подчас не выпустить из рук поводья вселенской колесницы! Как от натуги приливает к голове кровь, когда приходится творить из ничего новую комету или новую расу мыслящих существ! Порою изнуренный дух сдается, отступает, и божество, пусть только раз за вечность, не может не поддаться слабости – и в этот миг его застали.

(5) Красный фонарь, зазывала порока*, висит над массивной прогнувшейся дверью и служит игрушкой порывам строптивного ветра. Грязный, зловонный, точно отхожее место, проход ведет во внутренний двор, где дерутся за корм петухи и куры, тощие, точно их же собственные крылья. Высокие стены окружают двор, и в западной – проделаны скупые окошки с железными решетками. Замшелые камни обители, прежде служившей приютом для благочестивых черниц, – что ж ныне здесь? – жилище блудниц, готовых ублажить своим срамом любого, кто выложит пару блестящих монет. Я стоял на мосту, перекинутом через ров и утопающем арками в илистом, вязком дне, – стоял, разглядывал великолепное старинное строение и жаждал обозреть его во всех деталях изнутри. Пока я так смотрел, то одна, то другая решетка на крохотных окошках вдруг начинали выпирать и вылетать вон, словно чья-то упорная длань напирала и гнула железные прутья, затем в окошке появлялась голова, засыпанные штукатуркой плечи, и вылезал человек, весь в клочьях паутины. Он свешивался вниз, пока, пальцы его не достигали земли и не упирались в утрамбованный слой нечистот, образуя на нем подобие двух корон, меж тем как ноги еще не вырвались из цепких тисков решетки. Когда же наконец он утверждался в естественном положении, то спешил окунуть руки в щербатое корыто с мыльной водой, повывавшее на своем веку не одно поколение смертных, и шел скорее в город подальше от этой затхлой трущобы. А вслед за ним из этой же дыры и таким же диковинным способом выбиралась нагая женщина и направлялась к тому же корыту. Но и ней со всех сторон сбегались петухи и куры, влекомые запахом человеческого семени; валили ее наземь, как она ни отбивалась, топтались по ее распростертому телу, словно по навозной куче, и расклеивали до крови дряблые губы ее натруженного лона. Насытившись, все птицы снова разбредались по двору, а женщина, обклеванная ими дочиستا, кровоточащая, дрожащая, вставала, словно очнувшись от дурного сна. Идти к корыту больше не было нужды, и, бросив тряпку, прихваченную, чтобы обтереть ноги, она вновь заползала в свою зарешеченную нору и поджидала, пока опять перепадет работа. При виде этого мне тоже захотелось проникнуть в этот дом! И я уже сорвался с места, как вдруг мой взгляд упал на буквы, начертанные на каменной опоре моста, то были еврейские письмена, надпись гласила: "Прохожий, стой, ни шагу дальше! Там, за мостом, царит разврат с разбоем вкупе. Когда-то юноша переступил сей роковой порог, и тщетны были ожидания друзей – он не вернулся". Но любопытство оказалось сильнее страха, и минуту спустя я уже стоял перед одним из забранных крепкой и частой решеткой окошек. Заглянув сквозь эту сетку внутрь, я поначалу увидел только тьму, но постепенно лучи угасавшего на горизонте солнца позволили мне разглядеть внутренность каморки. И то, что я увидел, поразило мой взор: нечто, похожее на огромный шест, казалось, состоящий из надетых друг на друга воронок. И это нечто двигалось! Металось по комнате и билось в стены! Удары были столь сильны, что сотрясался пол, а в стенах уже зияли выбоины, как от тарана, которым сокрушают ворота осажденного города. И все же странное орудие не могло пробить монастырских стен, сложенных из каменных глыб, и каждый раз, врезаясь в камень, оно стибалось, как стальной клинок, и отскакивало, как упругий мячик. Значит, оно не из дерева! Вдобавок ко всему, оно легко свивалось и разматывалось, точно угорь. Этот шест был высотой с человека, но стоять вертикально не мог. И, хотя все снова и снова выпрямлялся, желая все же прошибить брешь, но каждый раз в изнеможенье падал на пол. Приглядевшись повнимательнее, я наконец понял, что это было: волос! Изнуренный жестокой схваткой со стенами своей тюрьмы, он поник, прислонясь одним концом к спинке кровати, а другим упершись в ковер на полу. И тогда до меня донеслись сначала рыдания, а после скорбный голос.

"Хозяин бросил меня в этой каморке, бросил и забыл. Он встал с этой самой кровати, расчесал свои благоуханные волосы, не помышляя обо мне, упавшем на пол. Простая справедливость требовала, чтоб он поднял меня. Но он



меня оставил, оставил томиться взаперти, ушел, натешившись объятиями женщины. И какой женщины! Простыни, которых касались их разгоряченные тела, еще не остыли, они, свидетели всего, что было ночью, измяты и разбросаны..." А я все гадал, кто же он, этот неведомый хозяин! И все теснее прикипал к решетке... "Пока весь мир и вся природа вкушали непорочный сон, он предавался грязному разврату, совокуплялся с нечистой тварью. Он пал так низко, что не гнушался приближать свои ланиты к ее презренным, не знающим стыда щекам. Мне, мне было стыдно, а он не краснел. Он был в восторге от своей подруги на одну ночь. Ну, а она, пораженная величественным обликом своего гостя, упивалась небывалым блаженством и страстно обвивала руками его шею". А я все гадал, кто же он, этот неведомый хозяин? И все теснее прикипал к решетке... "Вокруг моего корня вздувались волдыри, сочащиеся ядовитым гноем, и набухали по мере того, как распалась дотоле неведомая моему хозяину похоть, набухали и вытягивали из меня жизненные соки. Чем исступленнее делались их ласки, тем быстрее убывали мои силы. И когда спаянные возделением тела забились в бешеных конвульсиях, мой корень зашатался, как сраженный пулей солдат, и оборвался. Разом погасло согревавшее меня живое пламя, я отломился, как засохшая ветвь, и слетел с божественной главы на пол, ослабший, помертвевший, изможденный, но полный жалости к хозяину и скорби о его сознательном грехопадении!" А я все гадал, кто же он, этот неведомый хозяин! И все теснее прикипал к решетке... "Еще куда ни шло, когда бы он сжимал в объятиях чистую невинную деву. Она, по крайней мере, была бы более его достойна, и это было бы не так позорно. Но горе! он лобзает лоб блудницы, покрытый коростой грязи, не единожды попранный грубою, пыльной пятой! Он с упоением вдыхает влажный смрад ее подмышек! Я видел, как от ужаса вставали дыбом волосы, что растут в этих потных ложбинках, видел, как сжимались от стыда и отвращения ноздри, не желая вбирать в себя зловоние. Но любовники не принимали во внимание протест подмышек и ноздрей. Она все выше вскидывала руку, а он все яростнее прижимал лицо. И я был принужден терпеть это кошунство! Принужден глядеть на эти бесстыдные телодвижения, наблюдать насильственное слияние двух несоединимых, разделенных бездною существ!.." А я все гадал, кто же он, этот неведомый хозяин! И все теснее прикипал к решетке... "Пресытившись в конце концов потным духом своей подруги, он возжаждал растерзать ее живую плоть по жилкам, но пощадил, ибо она была женщиной, и предпочел подвергнуть этой попытке кого-нибудь из мужеского пола. Призвав некоего юношу из кельи по соседству, бесечно заглянувшего в сию обитель поразвлечься с девками, он велел ему подойти поближе к ложу. Я не мог видеть, что в точности произошло между ними, поскольку обломанный кончик мучительно болел и не давал приподняться с полу. Но как только мой хозяин смог дотянуться до юноши рукой, клочья трепещущего мяса полетели на пол и упали подле меня. Они-то и поведали мне шепотом, что хозяин выдрал их, схватив несчастного за плечи и притянув к себе. Несколько часов боролся юноша с неизмеримо сильнеешим противником и наконец поднялся с ложа и горделиво распрямился. Вся кожа с его тела была содрана, вывернута наизнанку, спущена, как чулок, и волочилась за ним по каменному полу. Приветливый и добрый по природе, он до тех пор был расположен верить, что и другие люди так добры друг другу, и потому с охотой откликнулся на зов внушительного незнакомца и, разумеется, не мог предположить, что попадает в объятия палача. Палач и изверг, -думал он теперь с обидой. Когда он подошел к окошку, оно, из жалости к освежеванному человеку, с треском раздалось до самого пола. Не расставаясь с содранною кожей, которая, как справедливо рассудил он, еще могла ему на что-нибудь стоиться, юноша покинул келью и ступил на двор, стремясь скорей оставить зловещий вертеп. Я не мог видеть, хватил ли у него сил добраться до выхода, зато воображаю, с каким священным ужасом отпрянули от него петухи и куры, и даже голод не мог заставить их приблизиться к кровавой дорожке на влажной земле!" А я все гадал, кто же он, этот неведомый хозяин! И все теснее прикипал к решетке!.. "Однако и тот, кому надлежало бы больше иечься о своем достоинстве и доброй славе, оторвался наконец от ложа. О, как он мрачен, одинок, чудовищен, ужасен!.. Изнемогая от усталости, он медленно оделся. А вокруг него унылым хороводом кружили души усопших монашек, покоившихся в подземелье и пробужденных от вечного сна дикой пляскою звуков над головами. Пока он подбирали осколки своего разбитого величья, пока отмывал руки собственными плевками (все лучше, чем оставить их немывтыми после такой любовной и кровавой оргии), монашки затаили скорбные молитвы, как будто отпевали мертвого. Наверное, и в самом деле истерзанный юноша не перенес пытки, учиненной над ним божественною десницей, и испустил дух под их заунывное пение..." Тут я вспомнил надпись на мосту и понял, что стало с исчезнувшим отроком, которого еще и ныне ждут его друзья. И все гадал, кто



же он, этот неведомый хозяин! И все теснее прикивал к решетке... "Вот перед господином расступились стены, и он, расправив крылья, дотоле спрятанные в складках изумрудного хитона, устремился ввысь. Монахини тогда бесшумно воротились в свои гробы. О, где же справедливость? - он вознесся в небесную обитель, а обо мне не вспомнил! Все волосы остались невредимы, и только я один валяюсь на полу, среди луж загустевшей крови, кусков подсыхающей плоти, в проклятой келье - с той ночи никто не переступает ее порога, - я заперт, позабыт и замурован! Неужто же все кончено? И мне не видеть больше сомкнутых рядов небесного воинства, не любоваться мерным ходом светил в садах вечной гармонии. Ну, что же, пусть так... я приму свою судьбу с должным смирением. Но поведаю людям обо всем, что видел здесь. Пусть и они отбросят всякую благопристойность, как вышедший из моды плащ, пусть упиваются пороком, раз сам хозяин подал им пример!" Это было последнее, что сказал волос. А я все гадал, кто же он, этот неведомый хозяин! И все теснее прикивал к решетке!.. Вдруг грянул гром и келью озарило ослепительное сияние; повинувшись невольному порыву, я отпрянул от окошка, но все же до меня донесся голос, другой, не тот, что прежде, униженно-елейный, боязливо-тихий. "Уймись! Уймись и молчи... не ровен час, услышат... Ты будешь снова красоваться на моей главе, я заберу тебя, но только позже, под покровом ночи, я не забуду... но если кто-нибудь тебя увидит, я пропал! О, ты не знаешь, чего я успел натерпеться! Только ступил я на небеса, как меня окружили любопытные архангелы. И хоть открыто никто не спросил, куда и зачем я отлучался, но все они, еще недавно не смевшие поднять на меня глаз, то и дело бросали изумленные взгляды на мое помертвевшее от усталости лицо и хоть не в силах были проникнуть в мою тайну, но мысленно сошлись на том, что я необычайно изменился. И втуне проливали слезы, и смутно понимали, что я утратил совершенство. И гадали, что за злосчастная прихоть меня обуяла: чего ради, покинув райские пределы, сошел я на землю и прельстился бранными утехами, которые дотоле презирал? Архангелы узрели две капли на моем челе: каплю спермы из лона блудницы и каплю крови из жил невинного мученика! Они жгли меня, как позорные язвы! Уродовали, как мерзкие стружья! Архангелы нашли клочки моей огнеблещущей мантии, что зацепились за звездные тернии и застряли на небе, поражая взоры земных народов. Залатать ее они так и не смогли, и потому я предстаю пред их невинностью нагим - это ли не возмездие за поруганную добродетель! Гляди, глубокие борозды прорезают мои поблекшие щеки: то медленно стекают по сухому руслу морщин капля спермы и капля крови. Достигнув губ, они неумолимо, точно влекомые магнитом, просачиваются в святилище моего рта и проникают в горло. Две раскаленные капли - душат, душат! Я, властелин вселенной, склоняю выю перед приговором совести: "Недостойный отщепенец", - гласит сей приговор. Уймись же! Уймись и молчи! Не ровен час, услышат... Ты будешь снова красоваться на моей главе, я заберу тебя, но только позже, под покровом ночи... Сатана, заклятый враг мой, взметнул свой остов и, изойдя из бездны, ликующий, победоносный, срамил и поносил меня перед толпой своих приспешников - увы, я заслужил его хулу! Вечно и неотступно следил он за каждым моим шагом, и вот я уличен! "Кто бы мог подумать, - вещал он, - что мой надменный соперник рискнет пуститься в долгий путь по бурному эфиру, и зачем же? - лишь затем, чтобы облобызать подол распутной девки да до смерти замучить беззащитного юнца. Меж тем в этом юноше, жертве его изуверства, - вещал он, - возможно, погиб дивный гений, поэт, чьи песни могли бы дать утешенье смертным, укрепить их дух. А бедные монашки из монастыря-вертепа! Они лишились покоя, они бродят, как сомнамбулы, по окрестным лугам и топчут лилии и лютики; негодование помутило их рассудок, однако не настолько, чтоб пережитой кошмар изгладился из памяти..." (Да, вот они идут унылой, молчаливой чередой, в белых саванах, с распущенными волосами, с поникшими и почерневшими цветами на грчди. Вернитесь, сестры, в свое подземелье, еще не ночь, еще только стужаются сумерки...) Ты видишь, волос, все, все вокруг вопиет о моем преступлении! Сатана объявил, что я, владыка всего сущего, был крайне легкомыслен (мягко говоря), выставляя напоказ свое бесстыдство, ибо теперь он, супостат, оповестит все мне подвластные миры о том, как я своим примером поддерживаю милосердие и справедливость. Почтение, которое ему внушал непогрешимый враг, - сказал он, - развеялось, и ныне он скорее поднял бы руку на чистую деву, как ни кощунственно такое покушение, чем плкнул бы в мое лицо, покрытое тремя слоями тошнотворной смеси семени и крови, и замарал бы о него свою тягучую слюну. Ныне он превзошел меня, причем превзошел не в пороке, а в целомудрии и добродетели. Меня же, - вещал он, - следовало бы привязать к позорному столбу за мои черные дела, следовало бы изжарить на медленном огне и вышвырнуть в море, если только оно не побрезгует мною. И коль скоро я счел справедливым навечно осудить и проклясть его за малую провинность, то теперь



с такой же непреклонностью обязан осудить самого себя и назначить кару, сообразную моей чудовищной вине... Уймись же! Уймись и молчи! Не ровен час, услышат... Ты будешь снова красоваться на моей главе, я заберу тебя, но только позже, под покровом ночи". Тут речь Творца оборвалась: ураган стесненных чувств, подобный смерчу, что взметает вместе с волнами косяк китов из океана, вздымал его измученную грудь. О царственная грудь, навеки оскверненная единственным прикосновением сосцов блудницы! О божественная душа, на миг поддавшаяся гидре порока, спруту сладострастия, акуле кровожадности, удаву малодушия, мокрице слабоумья! Должно быть, они бросились друг другу в объятия: выпавший волос и его падший хозяин. Но вот Всевышний продолжил, представ как подсудимый пред собственным своим судом: "А люди, что подумают люди о том, кому они поклонялись, когда им станут известны мои нечестивые деяния, мои блуждания в затхлых лабиринтах измененной материи, среди гнилых болот и скользких камышей? - блуждания, что привели меня туда, где стонет и ревет в вонючем логове косматое, свирепое чудовище - преступное злодейство!.. Предвижу, мне придется потрудиться и изрядно, чтоб оправдаться в их глазах и вновь снискать их уважение. Я, верховный Творец и Владыка, пал ниже человека, которого собственноручно вылепил из глины! Нет, остается только ложь, так говори же всем, будто я никогда не спуускался с небес, будто пребывал и пребываю в своих чертогах, украшенных скульптурами, колоннами, искусною мозаикой; будто погружен в заботы о благоденствии своей державы. Представь: вот я явился к своим земным чадам и проповедаю: "Изгоните из ваших жилищ зло и широко откройте двери добру. Да не уповаает на мое благое милосердие тот, кто поднимет руку на ближнего и поразит грудь его смертоносным клинком, да убоится он, гонимый отовсюду, святого правосудия. Скроется ли в лесную чащу - но в шепоте дерев, в шуршанье трав и шелесте ветра услышит стоны поправленной совести, бросится прочь - гибкие лианы станут цепляться за его ноги, чертополох с иглицек - царапать кожу, а скорпионы - жалить пятки. Направит ли свой бег на дикий берег - но море грозно надвинется на убийцу, море метнет ему в лицо ледяные брызги, море прогонит нечестивца. В смятенье заберется он на скалы, на голый утес, но вслед ему лютые ветры в полых пещерах и сквозных расселинах поднимут рев, как стадо диких буйволов в пампасах. Береговые маяки, насмешливо мигая, проводят его до полуночных пределов своими беспощадными лучами, а блуждающие огни, эфемерные болотные духи, закружат его в бесовской пляске, так что дыбом поднимутся его волосы и обморочной мутью подернутся его глаза. Так пусть же благочестие обоснуется в ваших хижинах и осенит ваши поля. Тогда сыновья, достигнув цветущей юности, почтительно преклонят колени пред родителями, иначе же вырастут чахлыми, пожелтеют, как ветхие манускрипты в книгохранилищах, обрушат дерзкие упреки на ваши головы и проклянут тот час, когда зачало их похотливое материнское лоно". Но если диктующий строгие законы сам же нарушает их, то можно ль требовать, чтобы их соблюдали слабые люди?.. О неизбывный, о вечный, как вселенная, позор!" Наверно, волос, убедившись, что не забывчивость, а осторожность заточила его в каменном мешке, смягчился и простил хозяина. Угас последний бледный луч закатного солнца, утонули во мраке отроги ближних гор, и словно серая пелена заволочла мои глаза. Я вновь приник к окошку и в надвигающейся тьме успел увидеть, как волос нежно, будто саван, обвивает господина. Уймись же, волос, уймись и молчи... не ровен час, услышат... Ты будешь снова красоваться на его главе. Уже совсем темно, пора, скорее, бесстыдный старец и невинный волос, скорее прочь из этого гнезда разврата, неслышно, крадучись, за монастырские ворота, на равнину, а там ночная тьма укроет все следы... Откуда ни возьмись, вдруг выскочила вошь и злобно зашипела: "Ну, что ты скажешь?" Я промолчал. Я вышел из ворот и вскоре достиг моста. Стер прежнюю надпись и заменил ее другой: "Хранить такую тайну все равно что носить в сердце кинжал, и все же клянусь молчать о том, что мне открылось и чему я был свидетелем за этими проклятыми стенами". И зашвырнул подальше нож, которым выцарапал эти буквы. Создатель еще юн, а вечность так длинна, и, значит, еще долго человечеству терпеть его жестокие причуды и пожинать кровавые плоды его безмерной злобы. Иметь его своим врагом - о нет, - и, закатив от ужаса глаза, пошатываясь, словно пьяный, я вновь побрел по темным закоулкам.

Песнь IV

(1) Кто: человек, иль камень, иль пень начнет сию четвертую песнь?

Порой наступишь ненароком на лягушку, вздрогнешь от омерзения какая гадость! но только и всего. Куда ужасней прикоснуться, хотя бы слегка, к телу человека: сей же миг растрескаются и разлетятся мелкими чешуйками, как слюда под ударом молотка, пальцы, и долго еще будет судорожно сокращаться желудок: так мучительно трепещет на деревянном настиле палубы сердце выпотрошенной акулы. Столь отвратительны друг другу люди! Прав ли я? возможно, что и нет, хотя скорее всего да. Я допускаю, что на свете есть болезни страшнее, чем воспаление глаз, утомленных непрерывным бдением, долгими часами, проведенными в попытках разгадать непостижимую человеческую душу, даже наверное, есть, и все же мне такой пока не встретилось! Пожалуй, я не глупее многих, и, однако, сказать, будто я преуспел в этих своих изысканиях, значило бы осквернить уста бессовестною ложью! Древний египетский храм стоит в местечке Дендера, в полутора часах пути от левого берега Нила. Ныне его балки и карнизы населяют полчища ос; живые ленты их огибают колонны, и кажется, будто длинные черные космы кольшутся на ветру*. Последние обитатели мертвого портика, они охраняют храм, словно фамильный замок, от посягательств посторонних. Треск тысяч жестких крылышек подобен оглушительному скрежету громадин-льдин, что насаждают друг на друга, когда весна крушит полярный панцирь. Но несравненно громче смятенное биенье трех черноперых крыльев скорби, терзающей меня, когда я наблюдаю за недостойным существом, увенчанным по воле Провиденья короною верховной власти на земле! Комета, долгих восемьдесят лет блуждавшая в темных глубинах космоса, вновь загорается в небе и разворачивает на диво людям, жабам и медлительным верблюдам свой легкий светящийся шлейф. Бесследно промелькнули для нее годы странствий, она невозмутимо блещет, мне же нет покоя, душа моя что раскаленная пустыня, и, словно яростное солнце, днем и ночью ее жжет боль и стыд за человека. Матрос, отбив ночную вахту, исхлестанный железной плетью ветра, спешит улечься в свой гамак и забыться сладким сном, мне же не дано вкусить и этого блаженства: как раскаленная игла в мозгу, меня терзает мысль о том, что я по собственной воле пал так же низко, как мои презренные сородичи, а значит, не имею права пенять на судьбу, приковавшую всех нас к омертвевшей коросте нашей жалкой планеты, и на свое природное убожество. Порою целые дома взлетают на воздух от взрыва осветительного газа и гибнут целые семейства, но смерть под обломками или смерть от удушья настагает жертвы быстро, они не бьются в изнурительной агонии... мои же муки вечны, я живуч и неистребим, как базальтовый кристалл! Бессмертные ангелы пребывают неизменными всю свою жизнь, я же давным-давно перестал походить сам на себя! И я, и человек мы оба ограничены возможностями нашего скудного разума, так лагуна зажата кольцом кораллового рифа; нам бы объединить усилия и вместе противостоять превратностям судьбы и случая, а мы чураемся друг друга, и ненависть разделяет нас, подобно обоюдоострому клинку! Похоже, каждый знает, насколько он мерзок другому, и оба полагают делом чести не скрывать этой неприязни; ни один не сделает шага навстречу противнику, уверенный, что мир, будь он даже заключен, все равно окажется недолгим. Ну что ж, пусть так! Пусть война с человеком продлится вечно, коль скоро каждый из нас видит в другом, как в зеркале, собственное уродство, коль скоро мы заклятые враги. Одержу ли я победу, плачевную, подобную крушению, погибну ли сам, но то будет прекрасная битва: я один против всего человечества. Не древо и не сталь изберу я своим оружием, гордою пятою отрину все, исходящее из недр земных; бряцание небесной арфы заменит мне и щит и меч. Уже не раз зловредная богоравная обезьяна метала мне в грудь из засады остроконечное копье, но воин не кичится боевыми ранами. Прискорбная вражда, смертельный поединок двух друзей!

(2) Два столпа возвышались на равнине, два столпа, величиной поболее булавок, два столпа, которые, пожалуй, возможно и даже не слишком трудно было бы принять за баобабы. На самом же деле то были две огромные башни. И хотя на первый взгляд два баобаба не похожи ни на две булавки, ни на две башни, но при известной расторопности, умело дергая за ниточки марионетку здравого смысла, можно без боязни утверждать (а утверждение, сделанное с боязнью, — уже несовершенное утверждение, которое хотя и продолжает называться тем же словом, но означает нечто существенно иное), что столп не столь уж разительно отличается от баобаба, чтобы исключалось всякое сравнение между этими архитектурными... или геометрическими... или архитектурно-геометрическими... или нет, не архитектурными, не геометрическими, а, скорее, просто высокими и крупными объектами. Итак, я нашел — не стану это отрицать — эпитеты, равно подходящие и баобабу, и столпу, о чем с превеликою радостью, а также с каплей гордости и сообщаю всем, кто, не жалея глаз, принял похвальное решение прочесть сии страницы,

будь то в ночной тиши, с зажженной свечкой, или средь бела дня, при свете солнца. Скажу еще, что даже если бы некая высшая сила строжайше запретила употребление любых, хотя бы и самых точных, сравнений, к которым прежде каждый мог прибегнуть невозбранно, то и тогда, вернее, именно тогда - ибо так устроено наше сознание - закрепленная годами привычка, усвоенные книги, навык общения, неповторимый характер, стремительно и бурно расцветающий в каждом из нас, неудержимо влекли бы человеческий ум к преступному (говоря с позиций этой гипотетической высшей силы) использованию упомянутой риторической фигуры, презираемой одними и превозносимой многими другими. Если читатель находит последнюю фразу чересчур длинной, пусть примет мои извинения, но каяться и пресмыкаться перед ним я не намерен. Признать свои ошибки я готов, но не желаю усугублять их низким раболепством. Порой в моих суждениях может послышаться звон дурацких бубенчиков, порой серьезные материи вдруг обернутся сущей нелепичей (а, впрочем, как говорят философы, отличить смешное от трагичного не так легко, ибо сама жизнь есть не что иное, как некая трагическая комедия, или, если угодно, комическая трагедия), так что же из того, не позволительно ли каждому в минуты отдыха от праведных трудов бить мух, а коли пожелает, то и носорогов? Что касается охоты на мух, то проще всего, хотя, возможно, это и не лучший способ, давить их двумя пальцами, но большая часть всесторонне изучивших предмет авторов вполне обоснованно считают, что во многих случаях предпочтительнее отрывать им голову. Буде же кто поставит мне в упрек упоминание о таких пустяках, как булавки, тому осмелюсь напомнить, что нередко именно мелочь и способствует достижению наилучших успехов, и сие неоспоримо. Да и вообще всякий имеет законное право говорить, что вздумается, я же, сравнив с такою меткостью столпы с булавками, опирался на законы оптики, согласно которым чем более удален предмет от наблюдателя, тем меньше его изображение на сетчатке глаза.

И так всегда: где автор вдохновенно вещает высокие истины, там публика, в силу всеобщей тяги к шутовству, склонна видеть пошлые остроты, как тот недалекий философ, что разразился смехом при виде осла, поедающего фиго*. Поверьте, я не преувеличиваю: старинные книги изобилуют примерами постыдного скудоумия, до которого добровольно опустился человек. Я же вовсе не умею смеяться. Не могу, как ни пытался. Мне оказалось не под силу научиться смеху. Или, скорее, дело в том, что я испытываю отвращение к этому гнусному кривлянью. А ведь я видел еще и не такое: видел, как фиго пожирает осла, видел и не засмеялся, губы мои не дрогнули, не растянулись ни на миллиметр! Напротив, меня охватило непреодолимое желание плакать, и слезы покатались из моих глаз. "О жестокая природа! воскликнул я, рыдая. Коршун пожирает воробья, фиго осла, а солитер человека!" Однако я не решаюсь продолжать свое повествование, ибо меня посетило сомнение: не забыл ли я рассказать об охоте на мух? Рассказывал, не правда ли? Да, но правда и то, что об охоте на носорогов не было сказано ни слова! И если друзья вздумают уверять меня в обратном, я не стану их слушать, памятуя о том, сколь губительны бывают лесть и похвала. Впрочем, не могу не заметить в свое оправдание, что подробное рассмотрение вопроса о носорогах могло бы истощить мое терпение и самообладание, а также, вероятно (и даже, смею полагать, бесспорно), отвратить от меня все ныне живущие поколения. И все же, как же так: сказать о мулах и позабыть о носорогах! Да и добро бы еще я сразу указал на это неумышленное упущение, в котором в общем-то нет ничего удивительного для каждого, кто пристально изучал полные неразрешимых противоречий законы деятельности мыслительных извилин человека. Мудрец найдет неисчерпаемую пищу в любом явлении природы, ибо оно, даже самое малое, таит в себе загадку. Что же до заурядного человека, случись ему увидеть, как осел ест фиго или фиго осла (хотя как то, так и другое обстоятельство встречается крайне редко; и по большей части в изящной словесности), он, лишь на миг заколебавшись, как поступить, не пойдем благим путем познания вещей, а вместо этого закуколкает и закукарекает на петушиный лад! Однако же петух, и это можно считать вполне достоверным, разевает клюв лишь для того, чтобы передразнить человека и скорчить ему рожу. Применяя к птице выражение "скорчить рожу", я вкладываю в него в точности тот же смысл, как если бы говорил о человеке. Да-да, петух нас дразнит, он никогда не стал бы просто подражать: не потому, что ему не хватает восприимчивости, а потому что благородная гордость не позволяет ему коверкать свое естество. Петух не то что выскочка-попугай, которого собственное нелепое кривлянье приводит в упоение! Нет, не петуха, а хуже, хуже! козу напоминает человек, когда смеется! Ни малейшего благообразия не остается в мерзкой харе с выпученными, как у рыбы, глазами, которые (это ли не плачевное зрелище?)... которые... которые блестят безумным блеском, как маяки в ночи! Действительно, мне случалось и случится еще раз высказывать со всей серьезностью соображения, исполненные вопиющей несуразности, и я не



понимаю, почему каждый раз это должно вызывать у вас желание растягивать рот до ушей и издавать ни на что не похожие звуки! Но невозможно сдержать смех, скажете вы. Что ж, положим, я приму такое объяснение, хотя оно, по существу, абсурдно, но пусть, по крайней мере, это будет горький смех. Смейтесь, так и быть, но только сквозь слезы. И если влага не течет у вас из глаз, пусть течет изо рта. На худой конец, можно и помочиться была бы жидкость, все равно какая, дабы умерить сухость, ибо смех с раскрытым ртом безмерно иссушает организм. Что до меня, я равнодушно внимаю нахальному кудахтанью и истощному бляенью толпы ничтожеств, всегда готовых освистать того, кто не похож на них самих, а ведь Господь, наделяя людей душами, предназначенными для управления скелетно-мышечной машиной, хотя и кроил их по единому образцу, но сотворил великое множество разновидностей. До сих пор мировая поэзия шла по ложному пути, то возносясь до небес, то ползая во прахе и вечно насилуя собственную природу, не зря же добрые люди всегда и вноле заслуженно осыпали ее насмешками. Ей не хватало скромности, главного и незаменимого достоинства любого несовершенного существа! Конечно, и я не прочь щегольнуть своими талантами, однако не желаю лицемерно скрывать свои пороки. И потому продемонстрирую читателям не только благородство и изысканность, но и безумие, гордыню, злобу, и каждый узнает в этом изображении саюго себя, да не таким, каким хотел бы себя видеть, а таким, каков он есть на самом деле. И, быть может, этот непритязательный образ, этот плод моего воображения превзойдет все самое возвышенное, самое великолепное, что было создано поэзией. Ибо, обнажая свои пороки, я только выигрываю в глазак читателя, так как они оттенят соседствующие с ними добродетели и позволят мне поднять их я разумею добродетели на такую высоту, что гении грядущих поколений удостоят меня восхищением. Пусть мои песни докажут миру, что я достаточно силен, чтоб пренебрегать людскими предрассудками. Мой Мальдорор свободный певец; для собственной улады, а не для развлечения толпы звучит его голос. Воображение его презрело человеческие мерки. Неукротимый, словно буря, проносится он над погибельными безднами своей души. И в целом мире, кроме самого себя, ему бояться некого! Он вступит в титаническую схватку с человеком и с самим Творцом и одолеет их с такой же легкостью, как рыба-меч, вонзающая без труда свое природное оружие в нутро чудовища-кита; так пусть же будет проклят собственными потомками, пусть будет наказан моею жилистой рукою тот, кто все еще упорно не желает проникнуть в смысл скачков шального кенгуру иронии и укусов дерзких вшей пародии! Два столпа, два огромных столпа возвышались на равнине. С них я начал строфу. Их было бы четыре, пожелай я помножить их на два, но я не вижу смысла в этой операции. Я шел вперед с пылающим лицом и что есть сил кричал: "Нет! Нет! Не вижу смысла в этой операции!" Я слышал скрип цепей, болезненные стоны. Так пусть никто из тех, кому придется проходить по этому пути, не смеет умножать две башни на два, чтобы произведение равнялось четырем! Пожалуй, кое-кто может заподозрить меня в том, что я люблю человеческий род, как мать любит чадо, которое выносила в своем горячем чреве, а потому я больше не вернусь туда, где возвышались на равнине равновеликих два сомножителя!

(3) На виселице, в метре от земли, раскачивался человек, подвешенный за волосы. Руки его были связаны за спиной, а ноги оставлены свободными, что лишь усугубляло муки. Кожа на лбу так растянулась под тяжестью тела, что лишенное в силу этого естественного выражения лицо напоминало известковые наплывы сталагмита или сталакмита*. Три дня терпел он эту пытку и зывал: "Кто развяжет мне руки? Кто отвяжет мне волосы? Я дергаюсь и извиваюсь что есть силы, но только напрягаю и без того растянутые до предела волосяные корни. Я не могу сомкнуть глаз, и голод с жаждою – не главная тому причина. Неужто это не последний час моей злосчастной жизни, неужто она продлится еще? И неужто не найдется никого, кто перерезал бы мне глотку чем угодно, хотя бы острым камнем?" Так он кричал, перемежая слова ужасным воем. И я уже собрался выскочить из укрывавшего меня кустарника и устремиться на помощь этой марионетке, этому кусочку сала на ниточке. Но тут увидел двух жен, что направлялись к виселице с противоположной стороны, приплясывая на ходу. Одна из них несла мешок и пару плеток из свинцовых нитей, другая – бочонок дегтя и две кисти. Седые космы старшей развевались на ветру, как ключья рваного паруса, а щиколотки младшей стучали друг о друга, как хвост тунца о корабельный ют. Глаза же у обеих горели столь неистовым, столь мрачным пламенем, что я на миг усомнился, к человеческому ли роду принадлежат эти фурии. Но они так бесстыдно и самодовольно смеялись, физиономии их были столь отвратительны, что я решил, что передо мною две отменно гнусные особи человеческого рода. Я снова спрятался за куст и затаился, как *acanthophorus*



serraticornis*, укрывшийся в своем гнезде, выставив наружу одну лишь голову. Женщины все приближались с неотвратимостью прилива; я уловил, прикинув ухом к земле, размеренные колебания от их шагов. Вот наконец кошмарные орангутанши дошли до самой виселицы, вот застыли на секунду, принялись и тут же затряслись в каких-то буйных корчах, выражая таким образом крайнее свое изумление, и обоняние подсказало им, что никаких перемен не произошло и смертельная развязка, которой они ждут, еще не наступила. При этом ни одна из них не потрудились посмотреть наверх убедиться, на месте ли колбаса, которую они подвесили коптиться. "Как может быть, чтоб ты еще не сдох? Ну, и живуч же ты, любимый муженек!" – воскликнула одна. "Так ты не хочешь умирать, мой миленький сыночек? И как это ты ухитрился распугать стервятников, уж не наколдовал ли? Да как ты отошал: подует ветерок – раскачиваешься как фонарь", – подхватила за нею другая; так вторят друг другу певчие в церковном хоре, что распевает на два голоса псалом. Обе взяли по кисти и дружно вымазали висельника дегтем, обе взяли по плетке и дружно замахнулись... А я залюбовался (и поневоле залюбуешься!): металлические хлысты не скользили по коже, как пальцы по голове негра, когда во время драки пытаешься, да все никак не может вцепиться ему в волосы, – а глубоко, до самой кости впивались в смазанное дегтем тело и оставляли кровоточащие рубцы. Изо всех сил старался я унять сладострастье, обуревавшее меня при виде зрелища столь увлекательного, хотя и менее забавного, чем можно было ожидать. Но, несмотря на всю свою решимость, не мог подавить восторженного изумления пред мускульной силой жен. Поскольку же я дал клятву ни на йоту не отступать от истины, то не могу умолчать и о недюжинной их меткости, они без промаха хлестали по наиболее чувствительным местам: то по лицу, то в пах! Конечно, я мог бы что есть мочи сжать губы в горизонтальном направлении (что, впрочем, как известно всем и каждому, есть наиболее распространенный способ их сжатия) и, не позволяя вырваться наружу слезам и откровениям, хранить молчание; однако это вынужденное и бесконечно тягостное безмолвие, уж верно (да, я уверен в своей правоте, хотя вовсе отбросить вероятность ошибки значило бы нарушить элементарнейшие правила двуличия), еще меньше, чем слова, способно скрыть от мира чудовищные результаты яростной работы неутомимых мышц, суставов и костей; они неоспоримы, так что можно было бы обойтись без взгляда бесстрастного наблюдателя и многоопытного моралиста (к тому же, считаю немаловажным заметить, что, на мой собственный взгляд, подобная отрешенность почти недостижима и предполагает ту или иную долю лицемерия), а ежели у кого-нибудь и проклюнулся бы росток сомнения на этот счет, он все равно не смог бы глубоко укорениться, по крайней мере, без вмешательства сверхъестественных сил, каковое, насколько я могу судить, в данном случае представляется маловероятным, и зачах бы, хоть, может, и не тотчас, из-за недостатка соков, которые были бы в равной мере неядовиты и питательны. Условимся же (или не читайте меня больше!): о чем бы я ни говорил, я излагаю лишь свой взгляд на вещи, не притязая на большее и не отказываясь (отнюдь!) от своих неотъемлемых прав! Я вовсе не берусь опровергать сияющее светом вечной истины утверждение о том, что существует более простой способ прийти к согласию, и состоит он в том – я изложу его в немногих словах, но не забывайте: каждое мое слово стоит тысячи! – чтобы не спорить вовсе; это справедливо, но не так легко осуществимо, как всем обычно кажется. Конечно, если спорить строго по правилам, то найдется мало охотников оспаривать все, что мною здесь изложено, для этого пришлось бы собрать целый арсенал весомых доводов; но все будет обстоять совсем иначе, если не на разум каждый будет полагаться, а на бессознательный инстинкт и вполне основательными и исполненными смысла признает все подсказанные им речи, которые иначе выглядели бы, вне всякого сомнения, бесстыднейшим враньем. Но полно, пора закончить это небольшое отступление, которое, в силу своей болтливой беспечности, столь же прискорбно непоправимой, сколь и неотразимо занимательной (в чем каждый легко убедится сам, прозондировав верхние слои своей памяти), вышло из определенных ему берегов, а для этого, если ваше душевное равновесие не нарушено или, еще лучше, если чаша с глупостью стоит много выше той, на которой помещаются благородные и драгоценные свойства разума, а говоря яснее (ведь до сих пор я был озабочен лишь лаконичностью слога, если же иные с этим не согласятся и поставят мне в упрек длинноты, то будут не правы, поскольку никак нельзя счесть длиннотой то, что соответствует первоначальной цели, а именно: изгонять все проявления истины, безжалостным скальпелем хладного анализа вырезать ее под самый корень), если ваш разум еще не весь разъеден язвами, которыми наградили его природа, обычай и воспитание, – для этого – повторяю во второй и в последний раз, ибо многократное повторение, как недвусмысленно свидетельствует практика, приводит чаще всего к полной невозможности согласия – лучше всего,



смирненно поджав хвост (если предположить, что таковой у меня имеется), вернуться к драматическому повествованию, являющемуся каркасом сей строфы. Но прежде было бы недурно выпить хотя бы един-единственный стакан воды. А ежели нельзя один, то можно два. Так во время погони через лес за беглым негром наступает минута, когда все, повесив ружья на лианы, усаживаются под сенью деревьев, дабы утолить жажду и голод. Но это лишь краткая передышка, и вот снова заулюлюкали со всех сторон: охота продолжается. И подобно тому как кислород распознается по его способности – которую он вовсе не кичится – разжигать чуть тлеющую спичку, обнаруживаемое мною упорное желание вернуться к главной теме служит признаком изрядной обязательности. Итак, когда две самки изнемогли настолько, что руки больше не держали плетень, они благоразумно прекратили упражнения, коим предавались два часа кряду и удалились в веселии, не предвещавшем ничего доброго. Тогда я бросился к несчастному, который призывал на помощь застывшим взглядом (он потерял много крови и до того ослаб, что не мог говорить, и хотя я не врач, но мне показалось, что особенно сильное кровотечение наблюдалось в области лица и паха), освободил от пут его руки, перерезал ножницами его волосы. И он рассказал мне, как однажды мать позвала его к себе в спальню, велела раздеться и лечь с нею на ложе, как, не дожидаясь его согласия, родительница первой сбросила с себя одежды и принялась завлекать его бесстыднейшими телодвижениями. Он спасся бегством. Но вскоре и супруга стала уговаривать его уступить домогательствам старухи (видно, рассчитывая, в случае успеха, получить от нее награду), он же упорствовал и тем навлек на себя ее гнев. И тогда они обе стоворились погубить упряма: соорудить в безлюдном месте виселицу и оставить его, беззащитного, на волю злой судьбе. В результате весьма продолжительных, весьма серьезных и донельзя напряженных раздумий они остановили свой выбор на этой утонченной пытке, и лишь мое неожиданное вмешательство воспрепятствовало полному осуществлению их плана. Во все время рассказа лицо спасенного сияло такой благодарностью, что сияние это затмевало страшный смысл того, что он произносил. Затем он лишился сознания, и я на руках донес его до ближайшей хижины и оставил на попечение живших в ней крестьян, не преминув вручить им кошелек с деньгами на все расходы по его лечению, и взял с них слово, что они не преминут окружить больного любовью и неустанными заботами, словно собственного сына. Рассказав им все, что поведал мне несчастный, я вновь переступил порог и пошел прочь от дома, но, не сделав и сотни шагов, невольно повернул назад, так что вновь очутился в хижине и, обращаясь к простодушным обитателям ее, воскликнул: "Ничего, ничего, не подумайте только, что я удивлен!" И с этими словами удалился вновь, на сей раз окончательно, хотя все время ощущал подспудное сопротивление своих ног – возможно, кто-нибудь другой его бы не заметил, но не я! К той виселице, что весеннею порою возведена совместными усилиями супружеских и материнских рук, не устремится волк, влекомый сладкою надеждой набить добычей брюхо. Едва завидев черный пук волос, болтающийся на ветру, он обратится в бегство и, презрев закон инерции, мгновенно разовьет внушительную скорость. О чем свидетельствует сие диковинное физиологическое явление? – не о том ли, что волк наделен интеллектом, намного превосходящим примитивный инстинкт своих млекопитающих собратьев? Не поручусь за истинность этих догадок, однако же мне кажется, что зверь все уяснил, он понял, что такое преступление! Да и как не понять, коли двуногие открыто, не таясь, изгнали разум и его веленья и возвели на опустевший трон неистовое мщенье!

(4) На мне короста грязи. Меня заели вши. Свиньи блкют при взгляде на меня. Кожа моя поражена проказою и покрыта струпьями; она лопаётся и гноится. Не касается ее влага речная, не орошает ее влага небесная. На темени моем, словно на навозной куче, выросла купа огромных зонтичных грибов на мощных цветоножках. Четыре столетия восседаю я в полной неподвижности на давно утратившем первоначальный вид сидении. Ноги мои пустили корни в землю, полуодеревеневшая плоть по пояс превратилась в некое подобие кишашего гнусными насекомыми ствола. Но сердце еще бьется. А как бы могло оно биться, если бы гниющий и смердящий труп мой (не смею называть его телом) не служил ему обильною пищей! Под левою мышцей обосновались жабы и, ворочаясь, щекочут меня. Смотрите, как бы одна из них не выскочила да не забралась вам в ухо: она примется скоблить ртом его внутренность, пока не проникнет в мозг. Под правую мышцей живет хамелеон, что вечно охотится на жаб, дабы не умереть с голоду: какая же божья тварь не хочет жить! Если же ни одной из сторон не удастся обойти другую, они расходятся полюбовно и высасывают нежный жирок из моих боков, к чему я давно уж привык. Мерзкая гадюка пожрала мой мужской член и заняла его место: по вине этой гадины я стал евнухом. О, когда бы я

мог защищаться руками, но они отсохли, если вообще не превратились в сучья. Во всяком случае одно бесспорно: ток алой крови в них остановился. Два маленьких, хотя достигших зрелости, ежа выпотрошили мои яички: содержимое швырнули псу, каковому подаянию он был весьма рад, а кожаные мешочки старательно промыли и приспособили под жилье. В прямой кишке устроился краб; ободренный моим оцепенением, он охраняет проход клешнями и причиняет мне отчаянную боль! Пара медуз пересекла моря и океаны: пленительная надежда влекла их, - надежда, в которой они не обманулись. Их взгляд приковывали две мясистые половинки, из коих состоит человеческий зад, и вот, приникнув к сим округлостям и вжавшись, они расплющили их так, что, где прежде была упругая плоть, стала мразь и слизь, два равновеликих, равноцветных и равномерских кома. О позвоночнике же лучше и не упоминать - его заменяет меч. Да, меч, конечно, вы удивлены... я и сам не совсем понимаю... Вам любопытно знать, как оцутился он во мне, вонзенный в почки, не так ли? Я и сам лишь смутно представляю это, но если счесть не сном, а подлинным воспоминаньем то, что отложилось в моей памяти, то знайте: прослышав о моем обете, о том, что я обрек себя на неподвижность и страданья, покуда не одержу победы над Создателем, подкрался ко мне сзади, на цыпочках, однако же не столь бесшумно, чтоб я не услышал, Человек. В первый, хоть и недолгий, миг я ничего не почувствовал. Стальной клинок вошел меж лопаток в спину быка, жертвы корриды, погрузился по самую рукоять, и остов зверя содрогнулся, как горный хребет в землетрясение. Железо так прочно приросло к живому телу, что до сих пор никому не удалось извлечь его. Кто только за это ни брался: врачи и силачи, механики и философы, и каких только средств они ни перепробовали. Ибо не ведали, что зло, причиненное человеком, неискоренимо. И я простил им невольное их заблуждение и поблагодарил взмахом вежд. Молю тебя, о путник, иди своей дорогой, не говори ни слова мне в утешение, не то мужество мое дрогнет. Предоставь моей решительности закалиться в огне добровольного мученичества. Иди и не жалея меня понапрасну. Извилисты пути ненависти, необъяснимы причуды ее, внешность ее обманчива, как мнимая кривизна жерди, опущенной концом в воду. Каким бы ни казался я тебе на вид, я и теперь еще смогу атаковать небесные твердьи, смогу увлечь с собой на штурм целую рать головорезов и вновь вернуться и застыть, обдумывая планы праведной мести. Прошай же, иди и не мешкай, и пусть мой устрашающий пример послужит тебе уроком и предупреждением: подумай, что сделало меня смутьяном, ведь и я был рожден непорочным! Расскажи обо мне своему сыну, возьми его за руку и открой ему все величие звезд, все красoty земного мира: от гнезда крохи-малиновки до божьих храмов. Ты подивишься, как почтительно станет он внимать отчим наставлениям, и вознаградишь его улыбкой. Но взгляни на него, когда он останется без надзора, и увидишь, что в бешеной злобе плевками оскверняет он добродетель; он человеческое отродье, и он лгал тебе, но впредь он тебя уж не обманет; теперь тебе доподлинно известно, каким будет твое чадо. Приготовься же, злосчастный отец, узреть эшафот, где отсекут голову юному злодею, и прими в сердце жгучую боль, такова будет участь твоя на старости лет.

(5) Что за фигура с назойливым упорством маячит перед моим взором, какой уродине принадлежит сие изображение? Задавая самому себе этот жгуший сердце вопрос, я нисколько не изменяю обычной строгости стиля, ибо делаю это, заботясь не о пышной форме, а лишь о достоверности. Кто бы ты ни был, защищайся: я намерен запустить в тебя тяжелым обвинением, как камнем из пращи. Где ты украл глаза? Они чужие, не твои! Я видел точно такие же у одной случайно встреченной светловолосой женщины, знать, у нее ты их и вырвал! Понятно, ты хочешь, чтоб тебя сочли красавцем, но тебе никого не обмануть, а уж меня и подавно. Запомни это и не сочти меня глупцом. Стаи хищных орлов, охочих до кровавой пищи, горячих защитников всех гонителей, прекрасных, как украшающие ветви арканзасского панокко* полуистлевшие скелеты, парят кругами над твоим челом, как будто преданные слуги, что взысканы господской милостью. Да есть ли у тебя чело? Право, в этом не мудрено усомниться. Твой лоб так низок, что вряд ли представляется возможным установить сам факт его существования при столь скупом количестве ему присущих признаков. Я не шучу. Может, ты и впрямь безлобый, ты, что вихляешь позвонками да извиваешься передо мною, как неумелый шут, задумавший сплясать замысловатый танец. Но кто же, кто похитил твой скальп? Быть может, тот человек, которого ты держал в заточении целых двадцать лет и который, вырвавшись на волю, решил воздать тебе за все сполна? Если так, я готов похвалить его, правда с оговоркой: я не сторонник крайностей, но он был крайне мягок. Ты же похож теперь на пленного индейца, хотя это сходство исчерпывается (заметим это с самого начала) значительным изъёмом волосяного

покрова. Я не отрицаю принципиальной возможности того, что волосы вновь отрастут вместе с кожей, – открыли же физиологи, что у животных восстанавливается со временем даже удаленный мозг, – но ограничиваюсь простой, но, впрочем, не лишенной удовольствия констатацией увечья, и помыслы мои не простираются так далеко, чтобы пожелать тебе исцеления, скорее, напротив, я склонен с более чем сомнительной беспристрастностью видеть в постигшей тебя невеликой беде, потере кожи с верхней части черепа, лишь предвестие несчастий покрупнее и осмеливаюсь робко предвкушать такой оборот дела. Надеюсь, я понятно излагаю свои мысли. Твое же горе поправимо; случись тебе, в силу нелепой (но не противоречащей логике) случайности, отыскать драгоценный лоскут кожи, суеверно сохраненный твоим противником как память об одержанной когда-то сладостной победе, и, ты, вероятнее всего – а впрочем, законы вероятности изучены лишь применительно к математике, несмотря на то, что они, как всем известно, по аналогии легко приложимы и к иным областям мышления, – не преминешь воспользоваться столь же удачно, сколь и внезапно подвернувшейся возможностью из вполне законного, хотя и несколько чрезмерного, страха перед местным или общим переохлаждением предохранить обнаженные участки твоего мозга от соприкосновения с атмосферным, особенно зимним, воздухом посредством этого головного убора, который принадлежит тебе по неоспоримому природному праву и который тебе будет позволено, если только ты, вопреки здравому смыслу, не воспротивишься этому сам, носить при любых обстоятельствах, не навлекая на себя упреков – всегда столь неприятных – в нарушении этикета. Ты слушаешь меня внимательно, не так ли? А если и дальше будешь слушать так же, вбирая каждое слово, то очень скоро пропитаешься горькою отравой скорби... Ну, а не слушать ты не можешь, ты внимаешь моим речам, словно подчиняясь некоей силе извне, – не потому ли, что я беспристрастен и ненавижу тебя не так сильно, как должен бы; возрази, если можешь. Твой дух стихийно тяготеет к моему, потому что во мне меньше зла, чем в тебе. Ну, разве я не прав! Вот ты лишь бросил взгляд на городок, раскинувшийся там, на горном склоне. И что же?.. {" Все жители его мертвы! Однако у меня, как и у всякого, или, быть может, больше, чем у всякого, хоть это и грех, есть гордость. Так выслушай меня... если признания того, кто прожил без малого полсотни лет в обличии акулы, носимой теплыми подводными течениями вдоль африканских берегов, тебе настолько интересны, что ты их можешь выслушать, пусть не сочувственно, но уж, по крайней мере, не проявляя слишком явно, что было бы непоправимо ошибкой, отвращения, которое тебе внушает это существо. Не стану сбрасывать маску добродетели, чтобы предстать пред тобою таким, каков я есть, поскольку никогда ее не надевал, (возможно, это может послужить мне оправданьем), так что, стоит тебе взглянуть получше, и ты тотчас признаешь во мне прилежного ученика, но отнюдь не соперника, пытающегося тягаться с тобою на поприще зла. А коли уж я не оспариваю у тебя пальму первенства, то не думаю, чтобы на это осмелился кто-нибудь еще – ему пришлось бы прежде сравняться со мною, а это нелегкая задача... Так слушай же, если ты не туманный фантом (ты прячешь свое тело непонятно где): эту девочку я увидел как-то утром; твердой, не по годам, поступью направлялась она к озеру, чтобы сорвать розовый лотос, и уже склонилась над водою, как вдруг встретилась взглядом со мной (замечу, справедливости ради, что это произошло не без моего старанья). И в тот же миг она внезапно, подобно тому как вскипает пеной приливная волна, встречая на своем пути валун, пошатнулась; ноги ее подогнулись, она упала в озеро и опустилась на самое дно (бесспорно, это чудо, но так оно и было, и это так же верно, как то, что я с тобою говорю); побочным эффектом сего происшествия послужило то, что все цветы из рода нимфей, которые цвели на озере, остались в целости и сохранности. Что она делает там, под толщей воды?.. как знать. Я полагаю, ведет ожесточенную борьбу с неумолимой силой тления! Но все же мне далеко до тебя, учитель, до тебя, чей взор уничтожает города, как слоновья пята муравьиную кучу! И вот тому свидетельство... Гляди, как опустел склон горы, где прежде кипела жизнь, и город стоит, как заброшенный всеми старик. Хотя дома и невредимы, зато – признаем честно – о тех, кто жили в них, никак нельзя сказать того же: их больше нет, считайте это парадоксом, но это истинная правда. Трупный смрад уже коснулся моего обоняния. Как, ты не чувствуешь? Ну, так взгляни: орлы слетаются со всех сторон и только ждут, пока мы отойдем, чтобы начать роскошный пир. Постой! Но, кажется, эти птицы уже давно были здесь, я видел, как они вились у тебя над головою, как хищные их крылья вычерчивали в небе воздушный обелиск, они словно торопили, словно подстрекали тебя. Неужто и сейчас еще ты ничего не чувствуешь? Обман, не может быть. Не может быть, чтобы не затрепетали твои обонятельные нервы от прикосновения пахучих атомов, их иснускает город убиенных, – ты это знаешь сам... О, с каким восторгом припадаю я к твоим стопам, но лишь пустоту

обнимают мои руки... Где же неуловимое тело того, кого видят глаза мои, пред кем я преклоняюсь? Фантом смеется надо мной и вместе со мною ищет собственное тело. Знаком призываю его не двигаться – и получаю в ответ такой же знак... Ах, вот что... я все понял, секрет раскрыт, но, признаюсь, я что-то этому не слишком рад. Все объяснилось, все до последней мелочи, о которой, по правде, не стоило и говорить, вроде вырванных у белокурой женщины глаз – подумаешь, какая важность! Как же мог я забыть, что это с меня самого сняли скальп, что это я сам заточил, хотя не на двадцать, а всего лишь на пять лет (досадная ошибка!), одного человека, желая потешиться его муками, за то что он отказал мне в своей дружбе, – и справедливо: ибо таких не берут в друзья. Если же я и дальше буду притворяться, скажу, что не подозреваю о смертоносной силе своего взгляда, которая губит даже планеты в небесном пространстве, то, пожалуй, сочтут, что память у меня отшибло начисто. Но это лишь минутные провалы, которые случаются не в первый раз и повторяются, как только предо мною в зеркале является вполне закономерно мое изображение, не признанное мною

(6) Я уснул на голом камне. Охотник, без отдыха и пищи гонявшийся целый день по пустыне за голенастым страусом, если найдется таковой среди моих читателей, – вот кто сможет хотя бы отчасти понять, какой свинцовый сон сморил меня. Или вообразите: пенный вал бчшущего моря своею мощной дланью послал в пучину судно, из всего экипажа один человек остался на плоту, долгие часы его плот, как щепку, носит по волнам, – долгие часы, и каждый час длиннее целой жизни, но наконец поблизости плывет фрегат, несчастного матроса замечают, в последний миг к нему поспевают помощь – вот этот страдалец, верно, мог бы понять лучше всех, каким тяжелым сном я был придавлен. Гипноз да хлороформ способны свергнуть человека – да и ввергают, если не ленятся – в подобную каталептическую летаргию. Такое состояние нисколько не напоминает смерть, кто это скажет, тот солжет. Однако перейдем скорее к сну, который мне пригрезился, не то любители такого рода рассказней взрежут от нетерпения, как стая мощноглавых кашалотов, оспаривающих друг у друга беременную самку. Итак, мне снилось, будто я очутился в прочно приросшей ко мне шкуре свиньи и валяюсь в самых грязных лужах. Это ли не благодать: сбылись мои мечты, я больше не принадлежал к человеческому роду! Именно так я и подумал и был несказанно обрадован, хотя и не мог сообразить, за какой подвиг Провидение послало мне столь почетную награду. Теперь, вспоминая все, что произошло со мною, пока я был распластан на гранитной глыбе – за это время два прилива сомкнули незаметно для меня свои волны над сплавом бесчувственного камня с живою плотью, – теперь я допускаю, что это превращение было, скорее всего, унижительным наказанием, которое ниспослало мне божественное правосудие. Но кто предугадает, что может затронуть в нас тайные струны постыдной, темной радости! Я счел тогда (да и сейчас считаю так же) сию метаморфозу щедрым даром, ослепительным счастьем, высшим, долгожданным благом. Наконец-то, наконец я стал свиньей! Я пробовал свои клыки на коре ближайших деревьев, я с нежностью разглядывал свое рыло. От искры божьей не осталось и следа; выходит, поднять свою душу до высоты вожделенного идеала совсем нетрудно. Так слушайте же и не краснейте, о вы, безмерно смехотворные пародии на красоту, вы, чрезмерно чтящие ослиный рев своей ничтожнейшей души, вы, ничего не ведающие о том, как Вседержитель в редкую минуту беспечного веселья духа и в полном соответствии с великими всеобщими законами гротеска потешился однажды тем, что заселил одну планету микроскопическими и диковинными существами, которых называют "люди" и чьи тела состоят из субстанции, напоминающей розовые кораллы... Что ж, вам есть от чего краснеть, кули с костями да жиром, но все-таки послушайте меня. Не к разуму ваше взываю: его отвращение к вам столь велико, что может привести к кровавой рвоте; не терзайтесь же страхом, как бы он не выдал вашу суть, следуйте своей натуре. Взгляните на меня: исчезли все помехи. Если мне хотелось убивать, а такое случалось нередко, я убивал, и никто не мешал мне. Правда, человеческие законы еще грозили мне возмездием, хоть я и не покушался на племя, которое оставил без всякого сожаления, но зато совесть ничуть меня не упрекала. Весь день дрался я с моими новыми собратьями, так что земля вокруг покрылась в несколько слоев засохшей кровью. Я был сильнее всех и выходил победителем из схваток. Огнем горели раны, но я делал вид, будто не замечаю боли. Наконец все твари земные обратились в бегство, и я остался один в ослепительном блеске славы. Решив покинуть места, опустошенные моею яростью, и перебраться в новые, дабы и там учинить кровавый террор, я вплавь преодолел реку, но едва достиг суши и попытался сделать первые шаги по цветущему берегу, как величайшее изумление охватило меня! Ноги мои сковал внезапный паралич, и стряхнуть это оцепенение я не



мог. Я делал невероятные усилия, чтобы освободиться и продолжить путь, но тут проснулся и почувствовал, что снова обратился в человека. Провидение недвусмысленно дало мне понять, что не желает, чтобы мои мечты исполнились, хотя бы и во сне. И это обратное превращение явилось столь болезненным ударом, что еще и поныне я плачу по ночам. К утру мои простыни намокают так, точно их окунули в воду, и мне приходится менять их что ни день. А если вам не верится, то приходите и сами убедитесь в том, что утверждение мое не просто правдоподобно, но совершенно правдиво. Сколько раз с той ночи, проведенной под открытым небом на скале, замешивался я в стадо свиней, пытаюсь вернуть себе облик, которого так несправедливо лишился! Пора, давно уже пора отринуть сладостные воспоминания о мимолетном торжестве, которые оставили в моей душе бледный, точно Млечный путь, след вечных сожалений...

(7) Увидеть нечто, по форме или же по сути отклоняющееся от всеобщих законов природы, не так уж невозможно. Действительно, стоит каждому, не пожалев усилий, мысленно перелистать страницы памяти (не пропуская ни одной, ибо именно на ней может оказаться доказательство выдвинутой мною мысли), как он не без некоторого улиwienia, каковое при иных обстоятельствах было бы комичным, обнаружит, что в такой-то день он был свидетелем - обратимся вначале к внешнему миру - явления, которое, казалось бы - да так оно и было на самом деле, - не укладывалось в очерченные опытом и очевидностью рамки, такого, например, как дождь из лягушек, таинственная природа которого не сразу была уяснена учеными. А в какой-то другой день - продолжая и завершая перечень феноменами мира внутреннего - собственная его душа являла взгляду изощренного психолога картину если не умственного расстройства (хотя это было бы еще любопытнее), то, по крайней мере (не стану дразнить трезвомыслящих критиков, которые не простили бы мне столь чрезмерных преувеличений), некоего особого и весьма тяжелого состояния, возникающего порой в результате того, что воображение переступает пределы, определенные ему здравым смыслом, нарушая тем самым неписанный договор, заключенный между этими двумя силами, под натиском ли воли, или, что несравненно чаще, из-за разобщенности сторон; в подтверждение сказанному приведу несколько примеров, в уместности которых нетрудно будет убедиться тому, кто запасается терпением и смирением. Достаточно и двух: необузданная ярость и недуг гордыни. Прошу читающего эти строки не делать поспешных и к тому же ложных выводов о несовершенстве моего стиля на основании того, что, разворачивая фразы с чрезвычайною стремительностью, я вынужден отбрасывать всяческие словесные украшения. Увы! Я и хотел бы выстраивать свои мысли и сравнения неторопливо и изящно (но что поделать, коли вечно не хватает времени!), с тем чтобы передать каждому читателю если не ужас, то изумление, овладевшее мною, когда однажды летним вечером, любясь солнечным закатом, я увидел, что по морю плывет какой-то человек могучего телосложения, имеющий вместо кистей рук и ступней ног перепончатые, как у утки, лапы, а на спине - острый и вытянутый, как у дельфина, плавник, и стаи рыб (среди прочих я различил в этой свите ската, гренландского анарнака* и адскую скорпену*) следуют за ним, всем своим видом выражая почтительнейшее восхищение. Временами скользкое тело его скрывалось под водой, но тут же он выныривал вновь, покрыв сто метров за какую-то секунду. Морские свиньи, которые, как я всегда считал, заслуженно слышат отличными пловцами, едва поспевали за этой невиданной амфибией. Мне кажется, тот читатель не пожалеет, который, вместо того чтобы затруднять повествование бездумным легковерием, удостоит автора доверием вдумчивым, с оттенком искренней приязни, которое позволит ему оценить по достоинству те, пусть, на его взгляд, немногочисленные красоты поэзии, в которые я старательно посвящаю его при всякой возможности, и как раз сегодня нечаянно выдался такой случай, который свежий бриз занес вместе с бодрящим ароматом морских водорослей в мою строфу, в которой говорится о диковинном существе, которое похитило у водоплавающих птиц их атрибуты. Но почему похитило? Кому же неизвестно, что человек, которого природа и без того довольно щедро наделила обширными и многообразными способностями, может, если пожелает, еще приумножить их и научиться погружаться в толщу вод не хуже бегемота, летать в поднебесье, как орлан, зарываться в землю, точно крот, мокрица или божественный червь... С большей или меньшей (и скорее большей, чем меньшей) точностью воспроизвожу я те весьма и весьма утешительные мысли, которыми пытался подкрепить свой дух, встревоженный подозрением, не в наказание ли за некий неведомый грех подверглись метаморфозе конечности того, кто несся по морю, развивая с помощью четырех перепончатых лап скорость, недоступную для проворнейшего из бакланов. Но мне не стоило терзаться и прежде времени травить себя горчайшими пилюлями жалости: я не знал еще, что этот человек, чьи руки мерно рассекают соленые морские волны, а ноги взвихряют буруны,

точно пара винторогих нарвалов, отнюдь не был наказан, хотя и без охоты принял удивительное превращение. Истина, открывшаяся мне впоследствии, оказалась проста: сей незнакомец покинул неприветливую сушу по собственной воле, а долгое пребывание в жидкой среде мало-помалу привело к тем очень явным, но не очень существенным изменениям, которые и были мною замечены, хотя поначалу, не разглядев как следует, я принял сей загадочный объект (подобные промахи, совершаемые по крайней опрометчивости, порождают чувство досады, понятное психологам и тем, кто отличается особой осмотрительностью) за рыбу странной формы, доселе не описанную ни одним натуралистом и разве что упомянутую в чьих-нибудь посмертных трудах – впрочем, это последнее предположение я не стал бы отстаивать уж очень рьяно, потому что оно обязано своим возникновением столь вольным допущениям, что может оказаться и заблуждением. Оно и неудивительно, так как амфибия была видима лишь для меня одного – не считая рыб и китообразных, – свидетельство тому – проходившие мимо крестьяне, которые при виде моего ошеломленного чудесным явлением лица останавливались и безуспешно пытались понять, почему это я, не отрывая глаз, смотрю на море, словно некая сила, казавшаяся непреодолимой, но не бывшая таковой на самом деле, приковывала мой взор к одной точке, туда, где они ничего, кроме мельтешения всевозможных рыб, не видели, и их в недоумении разинутые рты достигали размеров китовой пасти. Поглядеть на рыбок – одна забава, а бледнеть, как этот чудак, вроде бы не с чего, – говорили они на своем живописном наречии, да и не так они были глупы, чтобы не заметить, что гляжу-то я не туда, где резвятся рыбы, а много дальше. Я же, в свою очередь невольно привлеченный зрелищем столь титанически распахнутых зевов, думал про себя, что если только не найдется в мире пеликана величиною с гору или хотя бы с мыс (прошу вас оценить всю тонкость оговорки, благодаря которой ни пядь земли не пропадет даром), то ни один птичий клюв и ни одна звериная пасть не может не то что превзойти величиною эти зияющие мрачные кратеры, но и сравниться с ними, И, право, даже если сделать скидку на известное преувеличение, неизбежно сопутствующее любезной моему сердцу метафоре (а эта риторическая фигура отвечает тяге человека к бесконечности гораздо больше, чем представляется умам, погрязшим в предрассудках или в ложных убеждениях, что по существу одно и то же), непреложной истиной остается то, что потешно разверстые крестьянские рты легко могли бы разом проглотить не менее чем по три кашалота. Ну, а коли быть совсем серьезным и умерить аппетит, то можно удовольствоваться тремя новорожденными слонятами. Один гребок амфибии – и пенный след протягивался на целый километр. Выныривает перепончатая длань – и в краткий миг меж взлетом и новым погруженьем как будто устремляется к космическим высотам, едва не прикасаясь к звездам. И вот, сложив ладони рупором, взобравшись на береговой утес, я крикнул так, что голос мой загнал в глубокие расщелины всех раков с крабами: "О ты, скользящий по волнам быстрее, чем летит альбатрос на не знающих устали крыльях, если причудливые возгласы, что вырываются из человеческой гортани и служат верным воплощеньем мысли, еще не утратили для тебя значенья, останови, прошу, хоть на минуту свое стремительное движенье и коротко, но по порядку, поведай мне свою судьбу. Но только не старайся внушить мне чувства дружбы и почтения, не трать на это слов, ибо они и так вспыхнули во мне, едва лишь я узрел, как ты с акульей грацией и силой отважно мчишься вдаль". Могучий вздох пронесся тогда над морем, и лютый холод пробрал меня до костей, и утес заколебался под моими ногами, или это зашатался я сам под бурным натиском воздушных волн, наполнивших мне уши скорбным воплем; тот вздох разбередил земные недра, и растревоженные рыбы нырнули в глубь морских зыбей с громоподобным плеском. Пловец приблизился, но не вплотную к берегу, а лишь настолько, чтоб его голос без усилия достигал моего слуха, и, шевеленьем лап поддерживая тело в вертикальном положении, возвысил над ревушкой пучиной свой торс, увешанный зелеными стеблями водных трав. И я увидел, как он склонил чело, как будто повелительно сзывая сонм заблудившихся в душе воспоминаний. Я молча ждал, не решаясь прервать священнодейственных раскопок, он же погрузился в прошлое и замер, недвижимый, словно риф. Но наконец он разомкнул уста: "Не потому ли у сколопендры такое множество врагов, что бесподобная красота ее бесчетных ножек отнюдь не вызывает ни любви, ни восхищенья у других животных, а только разжигает в них завистливое озлобленье. Все хулят и ненавидят ее – что же, меня это несколько не удивляет... Не стану говорить тебе, где я родился: это ничего не прибавит к моему рассказу, а честь не велит пятнать позором имя предков. На второй год супружества моих достойных родителей (да простит их Господь!) небо, вняв их молитвам, послало им близнецов: моего брата и меня. Казалось бы, родившись в один день, мы должны были нежно любить друг друга. Но вышло по-другому. Я был красивей и умнее брата, и он воспытал ко мне ненавистью, которой даже не



пытался скрыть, родители в ответ на это окружали меня еще большею любовью и лаской, я же, не переставая искренно любить брата, старался отвратить душу несчастного от противоестественной вражды с тем, кто делил с ним тепло материнской утробы. Но злоба его не знала границ, и наконец, опорочив меня чудовишной клеветой, он добился того, что родители от меня отвернулись. Пятнадцать лет провел я в темнице, питаюсь мерзкими червями да мутною водой. Не стану подробно описывать всех мук, перенесенных мною за долгие годы этого безвинного заточения. Изю дня в день в определенный час двери моей тюрьмы открывались и входил один из палачей – всего их было трое. и каждый являлся в свой черед – с клещами, щипцами и прочими орудиями пытки. Они слышали крики, которые исторгала у меня боль, и оставались равнодушны, они видели потоки крови и усмехались. О брат мой, виновник всех моих несчастий, я тебя простил! Может ли быть, чтобы твоя слепая ненависть не сменилась наконец прозрением?! Томясь в узилище, я много размышлял. И ты легко поймешь, как я возненавидел род людской. И все же, несмотря на тройной гнет – одиночества, тоски и недугов, – я не совсем лишился рассудка и не озлобился против тех, кого все еще продолжал любить. Но вот однажды хитростью мне удалось вернуть себе свободу. Страшась всех живущих на земле, всех, кто, хотя и считались мне подобными, на самом деле, насколько я успел понять, не имели со мною никакого сходства (если бы они и правда считали меня подобными себе, для чего стали бы причинять мне столько зла?), я побежал на каменистый берег, твердо решив умереть, если и в море будут терзать меня воспоминания о поре, предшествовавшей пережитому кошмару. И что же, вот я перед тобой. Жизнь в морских глубинах, в сияющих хрусталем гротах, которую веду я с тех самых пор, как покинул отчий дом, не так уж и плоха. Взгляни и убедись. Провидение даровало мне лапы лебедя. Мирно провожу я свои дни среди рыб, и они заботятся о моем пропитании и служат мне, признав своим повелителем. Сейчас, если позволишь, я свистну на особый лад, и ты увидишь, как они со всех сторон примчатся на зов". Как он сказал, так и произошло. Затем мой странный собеседник вновь царственно поплыл в сопровождение свиты подданных. В считанные секунды скрылся он из виду, но я навел подзорную трубу и все же разглядел его, пока он не исчез совсем за горизонтом. Он греб одной рукою, другой же тер глаза, налившиеся кровью от неимоверного усилия, которое пришлось ему приложить, чтобы заставить себя приблизиться к суше. И все лишь ради меня, лишь затем, чтоб утолить праздное мое любопытство. С досадой отшвырнул я трубу, проклиная ее ненужную зоркость; ударившись о камень, она разбилась вдребезги, и волны унесли осколки: то был прощальный жест, которым я почтил несчастное и благородное создание, в котором ясный ум соседствует с горячим сердцем, явившееся мне как будто бы во сне. Но не во сне, а наяву случилось все, чему я был свидетелем в тот летний вечер.

(8) Каждую ночь, все вновь и вновь, распиная истерзанную память на широко распахнутых крылах, я воскрешал в воображении один и тот же образ, твой образ, Фальмер... каждую ночь... Светлые кудри, нежный овал лица, решительный взор запечатлелись в моем сознание... да, особенно светлые кудри... Но что это за безволосый, гладкий, словно черепаший панцирь, череп – прочь, уберите прочь!.. Ему было четырнадцать, а мне лишь годом больше. Да замолчи же, страшный голос! Зачем мне выдавать себя? Но это говорю я сам. Теперь я понял: это моя мысль приводит в движение мой язык и шевелит моими губами – это говорю я сам. Это я начал рассказ о своей юности, это меня ужалила в самое сердце совесть, и это говорю – по-видимому, так... – и это говорю я сам. Мне было только годом больше, чем ему... лишь годом больше, чем ему... кому же? О ком я говорю? В то давнее время он, кажется, был моим другом. Да-да, он был мне другом, а имя я уже сказал и больше ни за что не повторю, нет, ни за что! Наверное, не нужно повторять и то, что мне было лишь годом больше. А может, нужно? Что ж, повторю, но только горьким шепотом: мне было только годом больше. Но я был гораздо сильнее и употреблял это превосходство лишь затем, чтобы защитить и поддержать в невзгодах жизни того, кто мне доверился, и никогда не помыкал им как слабейшим. Он был слабее, да, помнится, он был слабее... В то давнее время он, кажется, был моим другом. Я был сильнее... Каждую ночь... Особенно светлые кудри... как всем известно, лысые не редкость, известны и причины сего малоприятного явления: старость, горе, болезнь – все три эти фактора вместе или каждый в отдельности. По крайней мере, именно такое объяснение дал бы, обратиться я к нему, ученый муж. Старость, горе, болезнь. Но я (а в этом деле я не уступлю ученым), я знаю еще одну причину облысения. А было так: однажды друг остановил мою руку с кинжалом, которую я занес над грудью женщины, я же в гневе схватил его за волосы своей железной дланью и раскрутил, так, что его светлые кудри остались зажаты у меня в кулаке, а сам он, повинувшись

центробежной силе, отлетел и со всего размаху врезался в могучий дуб... Да, я знаю еще одну причину... однажды светлые кудри остались в моем кулаке... И сам не уступлю ученым... Да-да, я уже называл его имя. Я это совершил... а сам он, повинувшись центробежной силе, со всего размаху... Четырнадцать лет ему было... В припадке буйного безумья, не разбирая дороги, помчался я, прижимая к груди кровавый комок, который с тех пор храню, как драгоценную реликвию... а за мною бежали детишки... детишки и старухи, швыряли камни и вопили: "Вот волосы Фальмера!" Прочь, уберите прочь этот гадкий, словно черепаший панцирь, этот безволосый череп... Кровавый комок... Но это говорю я сам... Он был слабее, помнится, слабее... Детишки и старухи... Он был... что я хотел сказать?... ах, да, был, помнится, слабее. Железной дланью... Погиб ли он от этого удара? Разбился ли о ствол... совсем, совсем разбился? Погиб ли он от этого удара?... Не ведаю, не видел, я закрыл глаза, не знаю и узнать боюсь. Особенно светлые кудри... В тот день я спасся бегством, но совесть мучительно гложет меня и поныне... Каждую ночь... Мечтающий о славе юноша, склонившийся над письменным столом, в своей каморке под самой крышей, вдруг слышит среди ночной тиши какой-то шорох; не зная, что это, он поднимает свою отяжелевшую от напряженных дум и чтенья пыльных фолиантов голову, глядит по сторонам, но не находит ничего такого, что объяснило бы происхождение того чуть слышного, но явственного ыороха. И наконец замечает: горячая воздушная струя, что поднимается от свечки к потолку, слегка колышет лист бумаги, припиленный к стене. Под самой крышей... И как мечтающий о славе юноша вдруг слышит непонятный шорох, я слышу голос, певучий голос, я слышу тихий оклик: "Мальдорор!" Пока же юноша не понял, откуда исходит звук, ему казалось, будто это шелест комариных крыльшек... над письменным столом склонившись... Я лежу на атласном ложе, но не сплю. С полнейшим хладнокровьем убеждаюсь, что глаза мои открыты, хотя уже давно настало время ночных маскарадов, час розовых домино. Никогда, о никогда никто из смертных не мог бы так трепетно и нежно, точно серафим, произнести три слога, что составляют мое имя! Комариные крыльшки... Как ласков его голос... Так он простил меня? Он отлетел и со всего размаху... "Мальдорор!"

Песнь V

(1) Не сетуй на меня, читатель, коль скоро моя проза не пришлась тебе по вкусу. Признай за моими идеями, по крайней мере, оригинальность. Ты человек почтенный, и все, что ты говоришь, несомненно, правда, но только не вся. А полуправда всегда порождает множество ошибок и заблуждений! У скворцов особая манера летать*, их стаи летят в строгом порядке, словно хорошо обученные солдаты, с завидной точностью выполняющие приказы полководца. Скворцы послушны инстинкту, это он велит им все время стремиться к центру стаи, меж тем как ускорение полета постоянно отбрасывает их в сторону, и в результате все это птичье множество, объединенное общей тягой к определенной точке, бесконечно и беспорядочно кружась и сталкиваясь друг с другом, образует нечто подобное клубящемуся вихрю, который, хотя и не имеет общей направляющей, все же явственно вращается вокруг своей оси, каковое впечатление достигается благодаря вращению отдельных фрагментов, причем центральная часть этого клубка хотя и постоянно увеличивается в размерах, но сдерживается противоборством прилегающих витков спирали и остается самой плотной сравнительно с другими слоями частью стаи, они же в свою очередь тем плотнее, чем ближе к середине.

Однако же столь диковинное коловращение ничуть не мешает скворцам на диво быстро продвигаться в податливом эфире, приближаясь с каждой секундой к концу утомительных странствий, к цели долгого паломничества. Так не смущайся же, читатель, странною манерой, в которой сложены мои строфы, сколь бы ни были они эксцентричны, незабываемой основой их остается поэтический лад, на который настроена моя душа. Конечно, исключения не составляют правил, но все же мое своеобразие остается в рамках возможного. Между литературой в твоём понимании и тем, какой она представляется мне, как между двумя полюсами, лежит бесконечное множество форм промежуточных, которые легко можно множить и множить, однако это не только не принесло бы пользы, но и могло бы чрезвычайно сузить и извратить глупоко философическую категорию, ибо она утратит всякий смысл, если отбросить то, что было изначально в ней заложено, то есть ее всеохватность. Вдумчивый созерцатель, ты способен восторгаться с

хладною душою, что ж, глядя на тебя, я восхищаюсь... А ты меня понять не хочешь! Быть может, ты нездоров, тогда последуй моему совету (лучшему из всех, какие я в силах дать тебе!) и пойди погуляй на свежем воздухе. Ты прав, это не бог весть что... И все же прогулка взбодрит тебя, а после снова приходи ко мне. Не плачь, успокойся, я не хотел тебя расстроить. Ну что, мой друг, не правда ли, мои песни уже нашли в тебе какой-то отзвук? Так отчего не сделать еще шаг? Граница меж нашими вкусами – твоим и моим – невидима, неуловима, а значит, ее и вовсе нет. Но если так, подумай (я лишь слегка касаюсь этой темы), уж не вступил ли ты в союз с упрямством, любимым чадом мула*, которое питает нетерпимость. И я не обратился бы к тебе с таким упреком, когда б не знал, что ты неглуп. Поверь: замыкаться в хрящеватый панцирь некоей, незыблемой в твоих глазах, аксиомы вредно для тебя самого. Ведь наряду с твоей есть и другие, и они столь же незыблемы. Положим, ты охоч до леденцов (природа тоже любит пошутить), что ж, никто не усмотрит в этом преступленья, но и люди, отличные от тебя по темпераменту и по масштабу дарований и потому предпочитающие перец и мышьяк, столь же вольны в своих пристрастиях, что отнюдь не означает, будто они желают навязать свой вкус в этом невинном вопросе тем, на кого наводит ужас какая-нибудь землеройка или формула площади поверхности куба. Говорю это по опыту, не желая никого подстрекать. И как коловратки и тихоходки могут выдержать нагревание до температуры кипения воды*, не теряя при этом жизнеспособности, так и ты сможешь постепенно привыкнуть к едкой сукровице, которая накапливается от раздражения, вызываемого моим замысловатым витийством. Почему бы и нет, ведь удалось же пересадить живой крысе хвост от дохлой. Вот и ты постарайся пересадить в свою голову разнообразные плоды моего мертворожденного ума. Ну же, будь благоразумен! Как раз сейчас, пока я пишу эти строчки, духовную атмосферу пронзают новые токи, а значит, надо, не робея, не отводя глаз, достойно встретить их. Но что это, отчего ты скривился? Да еще передернулся так, что эту гримасу и не повторить без долгой и упорной тренировки? Пойми, во всем нужна привычка, и поскольку то произвольное отвращение, что вызывали у тебя первые страницы, заметно убывает, обратно пропорционально растущему усердию в чтении – так истекает гной из вскрытого фурункула, – есть надежда, что, хотя твои мозги еще воспалены, ты скоро вступишь в фазу полного выздоровления, Да, ты определенно пошел на поправку, разве что еще бледен лицом. Но ничего, крепись! ты наделен недюжинным умом, с тобой моя любовь и вера в окончательное исцеленье, а чтобы избавиться от последних симптомов недуга, ты должен принять особые снадобья. Для начала вяжущее и тонизирующее; это несложно: вырви руки у собственной матери (если она у тебя еще есть), изруби на мелкие куски и съешь за один день, сохраняя полную невозмутимость. Если же матушка твоя чересчур стара, выбери для этой операции предмет помоложе и посвежее, чьи кости легко берет пила хирурга и чьи плюсны при ходьбе служат надежной точкой опоры ножному рычагу, ну, например, свою сестру. Мне тоже жаль ее, ведь доброта моя не напускная, как та, которую рождает восторженный, но хладный ум. Что ж, мы с тобой уроним по слезе, свинцовой и неудержимой, над этою столь дорогой нам девой (хоть никакими доказательствами ее девства я не располагаю). И будет. Рекомендую тебе также отличное смягчающее средство: смесь из кисты яичника, язвительного языка, распухшей крайней плоти и трех красных слизней, настоящая на гнойных гонорейных выделениях. И если ты исполнишь эти предписания, моя поэзия примет тебя в свои объятия и обласкает, как вошь, которая впивается лобзаннями в живой волос, покуда не выгрызет его с корнем.

(2) На кочке предо мною возвышался некто. Издалека я плохо видел его голову, неясно различал ее очертания, но сразу уловил в ней что-то необыкновенное. Я страшился приблизиться к сей неподвижной фигуре, и пусть бы, кроме пары собственных ног, приставили мне конечности трех сотен крабов (не считая тех, что предназначены для захвата и измельчения пищи), я и тогда не тронулся бы с места, если бы одно событие, как будто бы весьма незначительное, не обложило непосильной данью мое любопытство и не заставило его выйти из берегов. Откуда ни возьмись, появился скарабей, поспешно направляющийся к вышеозначенной кочке, – именно к ней, несомненно к ней, он сам прикладывал все силы, чтобы сделать очевидным свое стремление к ней, – катя перед собою по земле при помощи всех усиков и лапок шар, состоящий в основном из экскрементов. Величиною же сие членистоногое было чуть поболее коровы! Кто сомневается в моих словах, прошу пожаловать ко мне, и я представлю недоверчивым неоспоримые свидетельские показания. Донельзя удивленный, я пошел за ним следом, держась, однако же, поодаль. Что будет он делать с этим огромнейшим черным шаром? А ты, читатель, гордящийся (и не напрасно) своею проницательностью, сможешь ли ты угадать? Ну, так и быть, не



стану подвергать столь тяжкому испытанию твою нетерпеливую страсть к загадкам. Но знай – и это легчайшее наказание из всех, какие я могу придумать – я открою (все-таки открою!) тебе эту тайну не раньше, чем в самом конце твоей жизни, когда ты поведешь ученый диспут с подступающей агонией... а может быть, в конце строфы. Между тем скарабей уже достиг подножья кочки. В то время как я хотя и следовал за ним, но был еще довольно далеко, ибо, подобно поморникам, опасливым и как будто вечно голодным птицам, которые обитают в приполярных областях, а в зоны умеренного климата залетают лишь изредка*, я тоже двигался вперед с медлительной опаской. И все еще не мог понять, что это за существо на кочке, к которому я приближался. Насколько мне известно, семейство пеликаньих состоит из четырех отдельных видов: глупышей, пеликанов, бакланов и фрегатов. Но надо мной возвышалась серая фигура, и то был не глупыш. На пригорке стояло немое изваяние, и то был не фрегат. Мой взор приковывала окаменевшая плоть, и то был не баклан. Теперь я ясно видел человека, чей мозг лишен варолиева моста*. Лихорадочно рылся я в памяти, пытаюсь вспомнить, где, в каких холодных или жарких странах я видел этот длинный, широкий, уплощенный сверху, с выпуклым гребнем с ноготком на конце, загнутым книзу, клюв, эти сборчатые края, этот надклювье, состоящее из двух сходящихся на конце лучей, этот промежуток между ними, затянутый кожной перепонкой, этот большой желтого цвета мешок, идущий вдоль всей шеи и сильно растяжимый, эти узкие, вертикально прорезанные, почти неразличимые, спрятанные в желобке у основания ноздри*. Когда бы это существо с дыханием простого легочного типа, снабженное волосным покровом, было птицею до самых пят, а не только до плеч, мне было бы не так уж затруднительно распознать его: вы и сами увидите, что это совсем нетрудно. И все же я не стану делать окончательного заключения, ибо для полной уверенности мне потребовалось бы иметь перед собою на столе одного из представителей названного семейства, хотя бы в виде чучела. А я не так богат, чтобы его приобрести. Иначе я бы пункт за пунктом проверил высказанную выше гипотезу и вскоре определил бы доподлинную природу загадочной твари, в чьей принужденной позе угадывалось внутреннее благородство. Гордясь тем, что сумел проникнуть в тайну двойственного организма, и стораая желанием узнать поболее об этом чуде, я наблюдал сию незавершенную метаморфозу! И хотя у незнакомца не было человеческого лица, он казался прекрасным, как пара щупальцеобразных длинных усиков какого-нибудь насекомого, или как поспешное погребение, или как закон регенерации поврежденных органов, или, вернее всего, как отменно зловонная трупная жидкость! Не обращая ни малейшего внимания на все происходящее вокруг, пеликаноглавый субъект смотрел прямо перед собою! Но лучше отложу конец этого описания до другого раза. Пока же, без затей и поскорее, продолжу свой рассказ, поскольку и вам не терпится узнать, к чему же клонится мой вымысел (дай-то Бог, чтоб это оказался чистый вымысел!), и я, со своей стороны, имею твердое намерение поведать все, что собирался, за один раз (ни в коем случае не за два!). И пусть никто не смеет упрекнуть меня в трусости. Найдется ли смельчак, который, очутись он на моем месте, не услышал, приложив ладонь к груди, как учащенно бьется его сердце. Да вот, кстати говоря, совсем недавно в Бретани, в одном приморском городишке, скончался бывалый моряк, с которым некогда приключилась не менее ужасная история. Он был капитаном дальнего плавания на корабле, принадлежавшем некоему судовладельцу из Сен-Мало. Как-то раз, проплавав в море год и месяц, он вернулся к семейному очагу, и как раз в этот день супруга осчастливила его наследником, законность коего он мог признать лишь вопреки всем законам природы; еще не оправившись от родов, она лежала в постели. Не обнаруживая ни удивления, ни гнева, капитан спокойно предложил жене одеться и прогуляться с ним вдоль городского вала. А дело было в январе. Вал Сен-Мало высок и, когда дует северный ветер, даже самые отчаянные не решаются на подобную прогулку. Бедная женщина повиновалась и пошла за ним смиренно и молча, по возвращении же свалилась в горячке. И в ту же ночь умерла. Конечно, то была слабая женщина. Но я, мужчина, оказавшись перед лицом не менее драматического испытания, не могу ручаться, что не дрогнет ни один мускул на моем лице! Едва лишь скарабей дополз до кочки, как человек, обратив воздетую руку на запад (как раз туда, где в облаках схватились гриф-ягнятник с американским филином), стер с клюва блистающую, подобно бриллианту, всеми цветами радуги слезу и сказал скарабею: "Доколе будешь ты катать несчастный этот шар? Твоя месть ненасытна, меж тем как у женщины, чьи руки и ноги ты когда-то скрутил жемчужными нитями, превратив в аморфный многогранник, дабы удобнее было толкать ее твоими членистыми лапами по равнинам и по дорогам, по камням и по колючим кустам (дай мне взглянуть, она ли это в самом деле!), – у этой женщины давно уж раздробились все кости,

отшлифовались в результате трения качения суставы, слились и слиплись части тела, так что все оно, утратив природные углы и изгибы, превратилось в однородную массу, в месиво из твердых и мягких тканей и приняло форму, близкую к шарообразной! Она уже давно мертва, так предай же ее останки земле и смотри, как бы переполняющая тебя ярость не разрослась сверх всякой меры; уже не жажда справедливого возмездия, а самолюбие руководит тобою, оно скрывается под стенками твоей черепной коробки и уже распирает ее, подобно призраку, вздымающему свой саван". Тем временем ягнятник и американский филин, поглощенные схваткой, незаметно для самих себя переместились ближе к нам. Скарабей, изумленный услышанным, вздрогнул и – что могло бы прежде показаться ничем не примечательным движением, а ныне послужило признаком неудержимого гнева – стал грозно скрести задними лапами о край надкрыльев, издавая пронзительный треск, в котором можно было различить слова: "От тебя ли слышу я эти трусливые речи? Уж не забыл ли ты, о брат мой, обо всем, что было? Эта женщина предала нас обоих. Сначала тебя, потом и меня. И по-моему, такое оскорбление не должно (да, не должно бы!) стереться в памяти с такою легкостью. С такою легкостью! Ты, великодушная натура, уже готов простить. А вдруг – почему ты знаешь! – хотя все атомы перепутались, и тело этой женщины напоминает круто замешанное тесто (теперь не время доискиваться, хотя самое поверхностное исследование могло бы прояснить вопрос о том, что более способствовало его плотности: совокупное ли воздействие пары тяжелых колес или же мое неукротимое рвение), она еще жива? Молчи и не мешай мне мстить". И, вновь толкая шар, он двинулся в дальнейший путь. Когда же он скрылся из виду, пеликан вскричал: "Своею колдовскою силой та женщина обратила меня в птицеглавое чудище, а брата – в скарабея, так, может быть, она и впрямь заслуживает еще и не таких мучений, как те, что были мною перечислены". Услышанное (во сне или наяву – не знаю) внезапно открыло мне, что вражда столкнула там, на небе, в кровавых объятиях ягнятника и филина, и тогда, откинув голову, как капюшон, дабы раздуть меха своих легких и обеспечить беспрепятственный выход воздушному току, я, глядя ввысь, возопил: "Эй, вы, остановитесь, прекратите распрю! Вы оба правы, она клялась в любви обоим и обоим обманула. Но не вы одни обмануты коварной. Она лишила вас человеческого облика, жестоко надругавшись над самыми святыми чувствами. Неужто вы не верите мне! Как бы то ни было, она мертва, и скарабей, невзирая на жалость, которой поддался его брат, первая жертва ее вероломства, подверг обманщицу суровой каре, которая оставила на ней неизгладимый след". Эти слова положили конец поединку, противники уже не рвали друг у друга перья и клочья мяса – и правильно. Американский филин, прекрасный, как формула кривой, которую описывает пес, бегущий за своим хозяином, скрылся в руинах старого монастыря. Ягнятник, прекрасный, как закон затухающего с годами роста грудной клетки при диспропорции между тенденцией к увеличению и количеством усваиваемых организмом молекул, взмыл ввысь и растворился в поднебесье. Пеликан, чей благородный порыв потряс меня тем более, что показался неестественным, вновь застыл на кочке, величественный, как маяк, привлекающий взоры всех плавающих по океану жизни одушевленных челноков, дабы, памятуя о его примере, они остерегались любви злых волшебниц. А скарабей, прекрасный, как трясущиеся руки алкоголика, почти исчез за горизонтом. Я же вырвал мускул из собственной левой руки, ибо был слишком взволнован судьбою четверых несчастных и не ведал, что творю. А я-то думал, что это просто ком навоза... Вот дурень...

(3) Периодическое отмирание всех человеческих чувств это не пустые слова, как может показаться. Или во всяком случае не такие пустые, как многое другое в том же роде. Пусть поднимет руку тот, кто всерьез готов обратиться к палачу с просьбой заживо содрать с себя кожу. Пусть поднимет голову тот, кто охотно подставит грудь под пули. Я поищу глазами шрамы, сосредоточу всю остроту осязания на кончиках пальцев дабы ошупать тело такого чудака, удостоверюсь, забрызган ли мой белоснежный лоб мозгами из простреленного черепа. Нет, любителя подобных самоистязаний не найдется в целом свете. Я не ведаю смеха, это верно, ибо до сих пор еще ни разу не смеялся. Однако было бы опрометчиво утверждать, будто губы мои не растянулись бы при виде человека, который заявил бы, что такое диво существует. Но то, чего никто не пожелал бы для себя, в избытке выпало на мою несчастную долю. Правда, мне не приходилось корчиться от боли, да это бы еще и ничего. Зато мой ум иссох от постоянных, напряженных, иступленных размышлений, он стонет, он вопит, точно лягушки, чье мирное болото посетила стая алчных цапель или прожорливых фламинго. Блажен, кто безмятежно спит на мягком ложе из пуха, выщипанного с груди полярной гаги, не замечая, что выдает себя врагу. Я же не смыкаю глаз вот уже три с лишним десятка лет. С



самого недоброй памяти дня моего рождения я воспыал неукротимой ненавистью ко всем лежанкам, приспособленным для усыпления. Я выбрал этот жребий сам, здесь нет ничьей вины. Так что отбросьте подозрения – они излишни. Вы видите блеклый венчик на моей голове? Его сплело само упорство своими тонкими перстами. И пока горячий, как расплавленный металл, жизнетворный ток не остановится в жилах моих, я не усну. Каждую ночь я заставляю свое воспаленное око неотрывно взирать на звезды в квадрате окна. А меж опухших век для пушей верности вставляю щепку. И, не меняя положения, прислонясь к холодной стенке, простаиваю напролет всю ночь, и стоя встречаю утро нового дня. Порою все же мне случается грезить, но при этом я вполне владею своим сознанием и телом, ибо да будет вам известно, что и кошмары, холодным фосфорическим огнем пылающие по углам, и лихорадочная дрожь, что прикасается своей культей к моим щекам, и монстры, потрясающие окровавленными когтями, – суть творения моего ума: он плодит и кружит их в бешеной пляске, чтобы найти занятие в вечном своем бдении. Пусть свободная воля – лишь слабая былинка, но она постоит за себя, она объявляет бесстрашно и твердо, что никогда не примет в число своих чад тупое забвение, – ибо спящий слабее оскопленного самца, Бессонница истощает плоть, сокращает путь к могиле, так что уже и ныне я ощущаю запах кладбищенских кипарисов, – пусть так, но все равно, пресветлый лабиринт моего сознания ни за что не выдаст своих святынь глазам Творца. Сокровенное чувство чести, в чьи благодатные объятия меня неудержимо тянет, велит мне всеми силами противиться такому унижению. Суровый страж беспечной души, я не позволяю своему утомленному стану согнуться и опуститься на ложе трав в тот час, когда на побережье зажигаются ночные фонари. Гордый победитель, я ускользаю из тенет коварного мака. Не диво, что сердце мое, ожесточившись в этой нечеловеческой борьбе, замуровало свои помыслы в собственных недрах, уподобившись голодному, что пожирает сам себя. Неприступный, как титан, я прожил весь свой век, несмыкая широко отверстых глаз. Конечно, днем, как хорошо доказывает опыт, каждый может успешно противостоять Великому трансцендентному Объекту (как он зовется, всем известно), ибо в это время суток наша воля готова защитить себя и дать нешуточный отпор. Но вот всю землю и всех людей, не исключая тех, кого наутро ожидает виселица, обвалакивает сумрак ночи, и тогда... о, как страшно видеть, что твой мозг – в кощунственных чужих руках! Беззастенчивый проклиная насильника, но поздно, дело сделано: целомудренный его покров изорван в клочья. Позор! дверь нашего убежища взломана, и все доступно разнужданному любопытству Божественного Вора. Не смей терзать меня так подло, слышишь, ты, мерзкий соглядатай моих мыслей! Я существую, и значит я – это я, и никто другой. Я не потерплю двоевластия. Я желаю распоряжаться своею сокровенной сутью единолично. Я должен быть свободен... или пусть обратят меня в гиппопотама. Провались сквозь землю, невидимый бич, и не раскаляй добела моей ярости. В одном мозгу нет места для меня и для Творца. Вновь ночь окрашивает мглою быстротечные часы, и вот, глядите, человек, не устоявший перед силой сна: каков он, распростертый на постели, что увлажнена его холодным потом? И что такое это ложе, впитавшее агонию затухающих чувств, как не сколоченный из тесаных сосновых досок гроб? Медленно, словно под натиском некоей безликой стихии, отступает воля. Липкая смола застилает глаза. Как разлученные друзья, тянутся друг к другу веки. Тело превратилось в труп, хотя и дышащий. Руки и ноги недвижимы, словно четыре массивных бревна пригвоздили к матрасу. А простыни, вы только посмотрите, простыни – как саван. Вот и курильница, в которой дымится ритуальный фимиам. Подобно далекому морю, ропщет и подступает все ближе к изголовью вечность. Земное жилище исчезло, падите ниц, о смертные, здесь осиянный свечами придел для отпеванья! Случается порою, что плененный разум, пытаясь сбросить оковы глубокого сна и победить свое природное несовершенство, вдруг с изумлением замечает, что обратился в погребальный обелиск, и, рассуждая с безупречной логикой, мыслит так: "Нелегкая задача – восстать с этого ложа. Меня влекут в повозке к двустолпной гильотине. Как странно: мои руки омертвели и уподобились бесчувственным колодам. Прескверная это штука, когда тебя во сне везут на эшафот". Кровь стучит в голове. Судорожно, со всхлипом, вздымается грудь. Все тело напряжилось, но каменная глыба не дает пошевелиться. И наконец явь прорывает пленку сновидений! Но если борьба строптивного "я" с безжалостной каталепсией сна затягивается надолго, то замороженный галлюцинациями разум впадает в бешенство. И, подстрекаемый отчаянием, распалается все больше, пока не одолеет естество и сон, почувств, что жертва ускользает, не выпустит ее и не умчится прочь с позором и досадой. Бросьте щепотку пепла в мои пылающие глазницы. Не глядите в мои вечно открытые очи. Понятно ль вам, какие муки я терплю (зато ликует гордость)? Каждый раз, когда ночь сулит всем людям негу и покой, один небезызвестный мне смертный

вышагивает под открытым небом. Я опасаясь одного: как бы не сломила моего упорства старость. Что ж, пусть настанет тот роковой день, когда я засну! Но лишь только проснусь, бритва не замедлит впиться в мое горло и тем докажет, что уж она-то – самая доподлинная явь.

(4) ... Кто, кто дерзнул втихомолку, как злоумышленник, подползти к сумрачной груди моей, петляя длинным телом? Кто б ни был ты, сумасбродный питон, что за причина твоего нелепого визита? Нестерпимые муки совести? Но не слишком ли далеко зашла твоя надменная самоуверенность, удав, если ты мог безрассудно предположить, будто твой вид заставит меня счесть тебя раскаявшимся преступником. Да, ты исходишь белой пеной, однако в ней я вижу только признак бешеной злобы. Или тебе неизвестно, что взор твой вовсе не горит святым огнем? Пойми же, если бы я принял, как ты заносчиво воображаешь, расточать тебе утешительные слова, то это обличало бы мое полнейшее невежество в физиогномике. Вглядишься-ка, да попристальнее, в то, что я с не меньшим, чем другие люди, основаньем, именуя своим лицом. Ты думаешь, оно в слезах? Ты обманулся, василиск. Тебе придется обратиться за сочувствием к кому-нибудь другому, а я, хотя бы и хотел, решительно не в силах выжать из себя ни капли сострадания. Да и вообще, какие вразумительные доводы могли привлечь тебя сюда, на твою же погибель? Я не могу вообразить, чтоб ты не понимал, что мне достаточно лишь надавить пятою на треугольную твою гадючью голову, и мягкий дерн саванны покраснеет и обратится в мерзостное месиво.

– Исчезни, скрой поскорее с глаз моих свой восковой преступный лик! Не я, а ты сам – тот призрак, что померещился тебе со страху. Так откажись же от ложных наветов, или теперь уж я примусь обличать тебя, а птица-секретарь, пожирающая змей и рептилий, меня поддержит. Что за чудовищное наваждение мешает тебе узнать меня? Или ты забыл, чем мне обязан, забыл о том, что это я даровал тебе жизнь, вырвав ее из мрачного хаоса, а ты поклялся служить мне верно и до гроба. В счастливом детстве (а то была пора наивысшего расцвета твоих духовных сил) ты, бывало, с быстротою серны обгонял всех, взбегал на холм, чтобы протянуть ручонки навстречу животворным лучам восходящего солнца. Дивные, как перлы, и переливчатые, как алмазы, звуки исторгались из твоего звенящего горла и сливались в гармоничные трели протяжно-хвалебного гимна. Теперь же ты отбросил, как грязное рубище, то кроткое терпение, с которым я так долго пестовал тебя. Благодарность, что жила в твоём сердце, испарилась, как лужа в летний зной, а на ее месте укоренилась и разрослась до трудноописуемых размеров самолюбивая гордыня. Да кто ты такой, чтобы так безрассудно полагаться на слабые свои силенки?

– А ты, кто ты, кичащийся своим могуществом? О нет, я не ошибся, и, какие бы обличья ты ни принимал, перед моими очами, как вечный символ произвола и жестокой тирании, горит огнем твоя змеиная голова! Он пожелал взять в руки бразды правления всем миром, но оказался не способен властвовать! Он пожелал наводить страх на всю вселенную, да не смог. Он возомнил себя царем мироздания, но это оказалось заблуждением. Презренный! Неужто только в этот час расслышал ты мятежный гул, что раздается во всех земных и небесных сферах, неужто только ныне этот вопль, подобно мощнокрылому урагану, ударил тебе в уши и разорвал на мелкие клочки шероховатую поверхность твоей непрочной барабанной перепонки?

Уж недалек тот день, когда моя рука повергнет тебя в прах и с прахом смешается твое ядовитое дыхание; я вырву твое сердце, а скрюченный предсмертными судорогами труп оставлю на дороге, дабы ошеломленный путник знал: сие еще трепещущее тело, чей вид пригвоздил его к месту и лишил дара речи, похоже, если здраво разобраться, всего лишь на прогнивший и рухнувший от дряхлости дуб! Какие крохи жалости удерживают меня сейчас, когда ты предо мною?! Отступи же по собственной воле, изыди, говорю тебе, иди отмой неизмеримый свой позор кровью новорожденного младенца – ведь таково твое обыкновение, Достойная тебя привычка. Прочь... ступай, куда глаза глядят. Я осудил тебя на вечные скитанья. На одиночество и бесприютность, Иди же... иди, пока не отнимутся ноги. Блуждай среди песков пустыни до скончания веков, пока вечный мрак не поглотит светила небесные. Набрeдeшь ли на тигриное логово – его хозяин бросится прочь, лишь бы не видеть в тебе, как в зеркале, точное отражение своей свирепости, вознесенной на постамент чистейшего разврата. Если же, понукаемый усталостью, ты остановишься близ моего дворца, если взойдешь на каменные плиты, меж которых растут колючки и чертополох, будь осторожен: не стучи подошвами своих драных сандалий по изукрашенным галереям, ступай легко, на цыпочках. И это не пустое предостережение. Не ровен час, разбудишь юную мою супругу с малолетним сыном, которые покоятся в свинцовом подземелье, под стенами замка и жуткие



стоны заставят тебя побледнеть. Их жизни пресекла твоя прихоть, и хоть они всегда твердо знали, как страшна твоя мощь, но все-таки не ожидали (свидетельство тому – их предсмертные речи), что приговор окажется столь беспощадным! И уж тем более старайся незаметно проскользнуть через безмолвные пустые залы с потускневшими гербами на усыпанных изумрудами стенах, где стоят горделивые статуи моих славных предков. Эти мраморные изваяния ненавидят тебя, берегись их ледяного взгляда. То говорят тебе уста единственного и последнего из их потомков. Взгляни на их занесенные то ли для обороны, то ли для страшного удара руки, на их надменно вскинутые головы. Уж верно, они догадались, какое зло ты причинил мне, и, если, двигаясь вдоль ряда отполированных до блеска глыб, на которых стоят эти грозные статуи, окажешься в пределах досягаемости, тебя настигнет кара. Говори, коль есть тебе что сказать в свою защиту. Рыдать же ныне не пристало. Рыдать надо было раньше, в более подходящее время. Если же ты наконец прозрел, смотри сам, каковы плоды твоих деяний и сам себе будь судьей.

Прощай, я уйду на скалистый берег, чтобы холодный ветер наполнил мою грудь, стесненную настолько, что я едва не задохнулся, ибо легкие мои громко ропщут и требуют, чтоб я избрал для созерцания предмет поблагодней и попристойней, чем твоя особа!

(5) О непостижимое племя педерастов, я не стану бранить вас за падение, не стану презрительно плевать в ваш воронкообразный зад. Терзающие вас постыдные и трудноизлечимые болезни и без того уж служат вам неотвратимым наказаньем. Прочь, учредители нелепых законов и поборники тесных рамок пристойности, – прочь, ибо разум мой свободен от предрассудков. Вы же, юные отроки – или, вернее, девы, – скажите (но только держитесь подальше, ведь я и сам не умею сдерживать свои страсти), когда и как в ваших сердцах зародился мстительный замысел украсить человечество венком кровоточащих ран. Ведь ваши поступки (хотя лично я от них в восторге!) заставляют его краснеть за своих сыновей; распутство, толкающее вас в объятия первого встречного, ставит в тупик даже мудрейших из философов, а ваша чрезмерная похоть приводит в изумление даже женщин. Вы, бесспорно, отличаетесь от прочих людей, но возвышеннее ли вы или ниже их, вот что неясно. Быть может, вы наделены шестым чувством, которого недостает всем нам? Скажите, не кривя душой. Впрочем, мне нет нужды допытываться, я сам уж давно, с тех пор, как близко наблюдаю недюжинные ваши души, оценил вас по достоинству. Благославляю вас левою рукою, освящаю правою, о ангелы, хранимые моею всеобъемлющей любовью. Лобзаю ваши лица и вашу грудь, лобзаю сладостными своими устами все части прекрасного и благоуханного вашего тела. Отчего вы сразу не открыли мне свою суть, отчего не сказали, что вы – воплощение высшей духовной гармонии? Мне самому пришлось угадывать, какие перлы нежности и чистоты таятся в ваших трепетных сердцах. В вашей груди, украшенной гирляндами из роз и из осоки. Чтобы познать вас, я должен был раздвинуть столпы ваших ног и прильнуть к средоточию целомудрия. И кстати (замечание немаловажное!), не забывайте каждый день как можно тщательнее мыться горячею водою, ибо иначе уголки моих ненасытных губ неминуемо будут разъедены венерическими язвами. О, если бы весь мир был не огромным адом, а гигантским задом, я знал бы, как мне поступить: я бы вонзил свой член в кровоточащее отверстие и исступленными рывками сокрушил все кости таза! И скорбь не ослепила бы меня, не застлала бы взор сыпучими дюнами, я отыскал бы в недрах земных убежище спящей истины, и реки скользкой спермы устремились бы в бездонный океан! Но к чему сожалеть о том, чего нет и чему никогда не бывать? не стоит предаваться бесплодным мечтаньям. Пусть лучше каждый, кто захочет разделить со мною ложе, приходит без боязни, однако же пусть знает, что мое радушие имеет строгие пределы: оно распространяется на тех, кому еще не минуло пятнадцати лет. Правда, мне самому уже тридцать, но это не помеха, что, в самом деле, за важность? С годами не охладевает пыл, напротив, и если волосы мои белы как снег, то не от старости, а по иной, известной вам причине. Мне не по вкусу женщины! Гермафродиты тоже! Меня влекут лишь существа, подобные мне самому, чье тело отмечено печатью благородства, отчетливой и неизгладимой. Вы скажете, что обладательницы длинных волос тоже соплеменны мне? Не верю и не отступлюсь от этого своего убеждения. Из рта у меня отчего-то течет солоноватая слюна. Кто бы высосал ее и избавил меня от этой напасти? Она сочится и сочится без конца! О, знаю, знаю, что это такое. Уже не раз я замечал, что если ночью прокусываю горло лежащего со мною рядом отрока и напиваюсь его крови (но было бы ошибкой считать меня вампиром: так называют мертвецов, восставших из могилы, тогда как я живой), то наутро часть этой крови извергается обратно – вот откуда эта смрадная слюна. Ничего не поделаешь, как видно, мой



пищеварительный тракт, ослабленный пороком, не может действовать исправно. Но только не пересказывайте никому моих признаний. Прошу об этом не столько ради себя, сколько ради вас самих и всех других людей, пусть страх перед неведомым удерживает в рамках добродетели и долга тех, кто мог бы, прельстившись пагубным моим примером, пойти по тому же пути. Будьте любезны (за недостатком времени не могу прибегнуть к более пространной формуле вежливости), взгляните на мой рот: вы будете поражены странным его видом – не стану наталкивать вас на сравнение с чешуей змеи, – а все оттого, что я сжимаю губы, как могу, чтобы казаться бесстрастным и холодным. Вам-то известно, что на самом деле все не так. Какая жалость, что сквозь сии благочестивые страницы я не могу увидеть твоего лица, читатель. Если ты еще юн, еще не достиг зрелости, прильни ко мне. Сожми меня в объятиях, сожми крепче, не бойся причинить мне боль, пусть напрягутся как можно сильнее наши сплетенные мускулы. Еще, еще сильнее. Но нет, все тщетно, непроницаемая плотность этого, во многих отношениях непревзойденного листа бумаги мешает нам окончательно слиться. Признаюсь, я всегда испытывал порочное влечение к хлипким школьникам и чахлым фабричным мальчишкам! Не подумайте, что это бред: я мог бы, если бы потребовалось, в подтверждение правдивости этого удручающего признания развернуть перед читателем длинную цепь подлинных событий. Человеческое правосудие, как ни расторопны его служители, пока еще ни разу не смогло поймать меня с поличным. Однажды мне даже случилось убить друга, который недостаточно пылко отвечал на мои ласки, а труп я швырнул в заброшенный колодец, не оставив против себя никаких прямых улик. Но отчего, о юноша-читатель, тебя пробирает дрожь? Или ты боишься, что то же самое я учиню с тобой? О, это вопиющая несправедливость по отношению ко мне... А впрочем, ты, пожалуй, прав: остерегайся, особенно ежели ты хорош собою. Мой член всегда чудовищно раздут, и даже когда пребывает в невозбужденном состоянии, никто из приближавшихся к нему (а мало ли их было!) не мог выдержать его вида, даже тот грубый чистильщик сапог, который в припадке безумия всадил в него нож. Неблагодарный! Мне приходится дважды в неделю менять всю одежду, и чистоплотность – отнюдь не главная тому причина. Просто иначе люди в считанные дни перебили бы друг друга. Ибо, в каком бы краю земли я ни появился, они повсюду докучают мне, сбегаясь толпами, чтобы лизать мои ступни. Такой притягательной силой обладает мое семя для всех существ, снабженных обонятельными нервами! Они стекаются с берегов Амазонки, оставляют благодатные долины Ганга, бросают приполярные, поросшие лишайником, просторы, чтобы пуститься в долгую погоню, вопрошая громоздкие города, не проходил ли вдоль их стен тот, чья божественная сперма наполняет дивным ароматом озера, горы, вересковые степи, скалистые мысы и морские просторы! Но, не найдя меня нигде (я укрываюсь в самых недоступных местах, чтобы распалить их еще больше), они предаются отчаянью, толкающему их на гибельные безумства. Разбившись на два стана, тысяч по триста в каждом, они вступают в битву, и грохот пушек предвещает кровавое побоище. Точно спаянные общей волей, в один и тот же миг бросаются в атаку фланги. Встают и падают каре, чтобы не встать уже вовек. Испуганные кони шарахаются во все стороны. Ядра неистовыми метеорами взрывают землю. И когда опускается ночная тень, то молчаливый месяц, что проглядывает сквозь лохмотья туч, печально освещает лишь горы трупов на месте жуткой сечи. Туманный серп обводит указующим перстом тела убитых, что покрывают землю на много миль окрест, точно приказывает мне задуматься и поразмыслить о том, сколь смертоносен для людей тот приворотный талисман, которым наградила меня судьба. Увы, сколько протечет еще веков, прежде чем погибнет, запутавшись в моих тенетах, весь род людской! Так гибкий и непритязательный ум использует, чтобы добиться своего, то самое, что раньше преграждало ему путь. Одна лишь эта возвышенная цель влечет к себе все мои помыслы, и, как вы сами можете судить, держаться тесной колеи той темы, что была намечена вначале, я более не в силах. Последнее слово... то было зимней ночью. Свистал и гнул ели студеной ветер. И в этой тьме Господь отворил свои двери и впустил педераста.

(6) Тихо! Идет похоронная процессия. Преклоните одно и другое колено и пойте загробную песнь. (Мудро и здраво поступит тот, кто истолкует мои повелительные речи лишь в грамматическом, а не в буквальном, абсолютно неуместном смысле.) Возможно, это ублаготворит душу усопшего, что направляется в могилу на вечный отдых от суетной жизни. Возможно... и, по-моему, даже несомненно. Заметьте, я не отрицаю, что ваше мнение до некоторой степени может расходиться с моим, однако главное – обладать правильными нравственными критериями, так чтобы каждый усвоил принцип, который велит поступать с ближним так же, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Первым шествует священнослужитель, неся в одной руке белый стяг,

символ мира, а в другой – золотую эмблему, изображающую детородный член и лоно, в знак того, что эти части тела становятся весьма опасными инструментами, когда – отбросим всякое иносказание – ими пользуются бестолково и вопреки велениям природы, вместо того чтобы пускать их в ход как действенное средство против всем известной страсти, служащей причиной едва ли не всех человеческих бед. Пониже спины у жреца свисает до самой земли пышнейший конский хвост (он, разумеется, пришит). Сие есть призыв быть осмотрительными, дабы не уподобиться скотам. Вслед за утешителем-пастырем движется отлично знающий дорогу гроб. А родственники и друзья покойного, как можно заключить из выбранного ими места, решили замыкать процессию. Величественно следует она, подобно судну, рассекающему волны моря, не опасаясь затонуть, поскольку в нынешнее время острые рифы и неистовые бури напоминают о себе лишь своим весьма ощутимым отсутствием. Чуть поотстав от погребальной группы, резво скачут жабы с саранчой, им тоже ведомо, что скромное участие в похоронах – неважно чьих – когда-нибудь зачтется им. Они вполголоса переговариваются на своем причудливом языке (не будьте столь спесивы, советую вам от души, чтоб думать, будто вы одни владеете бесценным даром облекать свои мысли и чувства в словесные одежды) о том, кто нередко встречался им, когда пробегал по зеленому лугам или окунался, смывая пот, в бирюзовые воды заливов, окаймленных золоты песков. На первых порах казалось, что жизнь благосклонна к нему, она улыбалась ему, осыпала цветами, но вы, уж верно, сами поняли, или, скорее, догадались, что ему было не суждено перешагнуть порог детства, и, покуда нет необходимости убеждать вас в обратном, не стану продолжать вводную часть своего безупречного рассуждения. Десять лет. Число, до странности напоминающее о количестве пальцев у нас на руках. Десять – это и много, и мало. Но, взывая к вашему чувству справедливости, я предлагаю вам, не медля ни секунды, признать со мною вместе, что в случае, который нас интересует, это скорее мало. Когда я думаю о тех таинственных законах бытия, в силу которых смерть настигает человека с такой же легкостью, как муху или стрекозу, не оставляя никакой надежды на возвращение в этот мир, во мне шевелится досада и ужас, ведь моя жизнь может пресечься прежде, чем я успею растолковать вам все то, чего, признаюсь без амбиций, еще и сам не понимаю. Но поскольку за долгое время, истекшее с тех пор, как, терзаемый страхом, я приступил к последней фразе, я все еще не умер – невероятный, но бесспорный факт, – то считаю небесполезным теперь же публично признать свое полнейшее бессилие, особенно в столь важных и мудреных вопросах, как тот, что мы затронули сейчас. Поистине достойно удивления, как тянет нас искать (чтоб сделать общим достоянием) различие и сходство в предметах самых разнородных и столь, казалось бы, малопригодных для таких курьезнейших сопоставлений, но, право же, сии сравнения, которые писатель придумывает просто для потехи, весьма украшают его стиль и делают его похожим на неподражаемую, неизменно серьезную сову. Так что я, предадимся этому соблазнительному занятию. У королевского коршуна* крылья много длиннее, чем у сарыча, полет его свободнее, и потому он проводит в воздухе всю жизнь. Летаёт он без устали и, что ни день, покрывает изрядное расстояние, причем проделывает это не ради охоты, не в погоне и даже не в поисках добычи – он вообще не охотится, – а просто потому, что, кажется, полет – его естественное состояние и любимое занятие. Нельзя не восхищаться, глядя на него. Длинные узкие крылья словно застыли, управляет один лишь хвост, и управляется отлично, пребывая в безостановочном движении. Птица легко поднимается ввысь, легко, как по наклонной плоскости, скользит к земле, она как будто плывет в воздушных струях, то стремительно мчись, то замедляя лет, то замирая и целыми часами паря, как бы подвешенная на нити. Не заметно ни малейшего движения крыльев, – совсем не заметно, хотя бы даже вы распахнули глаза, как ворота. Конечно, каждый волен заявить (хотя это и было бы не слишком деликатно), что не усматривает никакой, даже и самой отдаленной, связи между красотой летящего коршуна и красотой мертвого ребенка, что покоится в гробу, точно кувшинка на водной глади; однако эта слепота – лишь следствие непоправимой ущербности, порожденной длительным бесчувствием к добровольному невежеству, в котором закоснели люди. А между тем сходство между двумя членами моего лукавого сравнения в их безмятежном спокойствии, и это до того банально и прозрачно, что остается лишь дивиться подобной умственной неповоротливости, каковая, как я уже заметил, объясняется неизменной привычкой взирать на все и вся с глубоким и ничем не обоснованным безразличием. Как будто ежедневное лицемерие делает предметы менее достойными внимания и пристального любопытства! У кладбищенских ворот процессия остановилась: она и не намерена была двигаться дальше. Могила готова, в нее опускают гроб по всей установленной для данных обстоятельств церемонии, и вот уже брошены первые пригоршни земли. Среди горестного

молчания священник произносит небольшую речь, чтобы довершить погребение покойного главным образом в сознании собравшихся. Начинает он с удивления обилием слез, проливаемых по столь незначительному поводу. Дословно так и сказано. А далее выражает опасение, удастся ли ему достаточно убедительно изложить свой взгляд на то, что представляется ему неоспоримым благом. Знай он заранее, что смерть так малопривлекательна в своей заурядности, он отказался бы от своей миссии, чтобы не увеличивать законную скорбь толпы родных и близких; но некий тайный глас велит ему утешить их души, хотя бы это успокоение сводилось к надежде, что тот, кто умер, и те, кто его пережили, вскоре встретятся на небесах. Меж тем, верхом на скакуне, летел к тому же кладбищу мой Мальдорор. Копыта резвого коня взметали густую пыль, что призрачным венцом клубилась над головой всадника. Вам, конечно, неведомо его имя, но я-то - знаю, кто он. Чем ближе, тем отчетливей черты его лица, словно отлитые из платины, хотя оно до половины укутано плащом, который, я надеюсь, не успел еще изгладиться из памяти читателей, так что видны одни глаза. Прервав на середине свою речь, священник побледнел: его слух уловил неровный стук копыт неразлучного со своим господином и делящего с ним славу белого коня. "Да, - заговорил он снова, - я твердо верю в грядущую встречу, так поразмыслите и скажите: пристало ли называть смертью недолгую разлуку души и тела? Ибо, кто полагает истинною жизнью пребывание здесь, на земле, тот находится в плену иллюзии, которую следует поскорее развеять". А конский топот раздавался все громче, когда же, заслоня горизонт, в кладбищенских воротах появился сам всадник, стремительный, как смерч, священник возгласил: "Итак, вы знаете теперь, что тот, чье земное бытие так рано оборвала болезнь и кого приняла сия могила, воистину жив, узнайте же, что тот, другой, кого уносит прочь пугливый конь, - взгляните на него, пока он близко, пока не обратился в точку и не исчез среди деревьев, - тот, чья жизнь еще длится, он, и только он один, воистину мертв".

(7) "Каждую ночь, в час, когда особенно крепок сон, из-под пола, из дырки в углу, осторожно высовывает голову огромный матерый паук. И чутко вслушивается, не уловят ли его челюсти какого-нибудь звукового колебания в атмосфере. Понятно, что если он при своем телосложении насекомого возжелал пополнить собою блестящую плеяду литературных героев, то ему и следовало, по меньшей мере, уметь улавливать звуки челюстями. Уверившись, что вокруг все тихо, паук, не утруждая себя дальнейшим размышлением, вытаскивает из гнезда одну конечность за другой и в несколько шагов оказывается у моего ложа. И странное дело: обычно мне ничего не стоит отогнать сонливость и кошмары; когда же эта тварь карабкается по точеным ножкам кровати к атласным простыням, меня как будто сковывает паралич. Паучище сжимает мне горло лапами и принимается сосать мою кровь, сливая ее в свою утробу. Сосет как ни в чем не бывало! Сосет еженощно, с упорством, право же, достойным лучшего употребления, и, верно, успел уже высосать не один литр багровой жидкости, название которой всем известно! Не знаю, что такого я ему сделал, за что он мстит мне? Быть может, по неосторожности отдал ему лапу? Быть может, похитил его детеншей? Что сказать об этих предположениях: оба они представляются весьма сомнительными и не выдерживают сколько-нибудь серьезной критики; нелепость их так велика, что может вынудить меня пожать плечами и даже усмехнуться, хотя насмешничать нехорошо. Эй ты, черный тарантул, берегись: если ты не можешь привести в свое оправдание ни одного неопровержимого силлогизма, то рано или поздно однажды ночью отчаянным усилием угасающей воли я все-таки заставлю себя очнуться, разгоню злые чары, не дающие мне пошевелиться, и раздавлю тебя меж двух пальцев, как студенистую каплю. Но мне смутно помнится, будто бы я сам когда-то позволил тебе безнаказанно взбираться на мою цветущую грудь и подползать к лицу, а если так, то, значит, я не вправе препятствовать тебе. О, кто бы помог мне распутать эти сбивчивые воспоминания! В награду за услугу я отдал бы ему всю кровь, какая осталась в моих жилах, всю, до последней капли, а ее, пожалуй, еще наберется на половину доброго кубка". Так говорил он и снимал с себя одежды. Затем поставил на край кровати одну ногу, другую оттолкнул от сапфирного пола и, сделав рывок, оказался в горизонтальном положении. Сегодня он решил не смыкать глаз, чтобы дать отпор врагу. Но разве не принимает он такое же решение каждый раз, и разве каждый раз не рушится оно, наталкиваясь на неясный образ рокового, давнишнего обещания? Он замолкает с грустной покорностью, ибо клятва всегда была для него свята. Величественным жестом набрасывает на себя шуршащий шелк, но не опускает полог и не завязывает золотых его кистей; раскинув смоляные кудри по бархату подушки, окаймленной бахромою, нащупывает у себя на шее зияющую рану, в которой, как в своем гнезде, устраивается тарантул, и на лице его написано блаженство. Он



тешится надеждой (потешьтесь вместе с ним и вы!), что нынешнюю ночь в последний раз увидит кровопийцу, он жаждет только одного: чтобы мучитель поскорей покончил с ним, и для него отрадой будет смерть. Смотрите, из-под пола, из дырки в углу, осторожно высовывает голову огромный матерый паук. И все это уже не на словах. Он чутко вслушивается, не уловят ли его челюсти какого-нибудь звукового колебания в атмосфере. Увы! словесный тарантул облекся плотью, и, хотя восклицательным знаком впору завершать здесь каждое предложение, это же не причина, чтобы не ставить его вовсе! Уверившись, что вокруг все тихо, паук, не утруждая себя дальнейшим размышлением, вытаскивает из гнезда одну конечность за другой и в несколько шагов оказывается у одинокого ложа. На миг он приостановился, но колебался недолго. "Отменять пытку еще рано, – рассудил он. – Прежде надо объяснить осужденному, за что же он обречен на вечные муки". И, забравшись на постель, паук подполз к самому уху спящего. Если хотите услышать его речи от слова и до слова, то выбросьте из головы все посторонние предметы, которые загромаждают просторные галереи вашего ума, и воздайте ему должное внимание, которое я оказываю вам, допуская лицезреть сцены, как я полагаю, интересные для вас, в то время как никто не помешал бы мне держать при себе все, о чем я рассказываю здесь. "Проснись, остывший пепел страстей, проснись, иссохший скелет! Исполнился срок – десница правосудия остановилась. И ты получишь разъяснение, которого так жаждал. Ты слышишь? Но не пытайся пошевелиться: сегодня ты еще во власти нашего гипноза, ты все еще парализован, но зато теперь в последний раз. Скажи, какие чувства пробуждает в тебе имя Эльсенор? Ты позабыл его! А гордый Режинальд, он тоже не оставил никаких следов в твоей безупречной памяти? Взгляни, это он прячется в складках занавеси, он тянется к тебе, но не осмеливается заговорить из робости, ведь он еще застенчивей меня. Сейчас я кое-что расскажу тебе из времен твоей молодости, и ты все вспомнишь..." Паук раздвинул свое чрево, и двое юношей в синих одеждах, с огненными мечами, вышли из него и встали по сторонам ложа, словно на страже священного сна. "Вон тот, кто и сейчас не может оторвать от тебя глаз, столь сильна его привязанность, был первым из нас, кого ты разыскал своей любовью. Ты часто бывал с ним слишком резок, и он страдал. И всячески старался ничем не вызывать твоего неудовольствия – но в этом не мог бы преуспеть и ангел. Как-то раз ты пригласил его с собою искупаться в море. Точно пара лебедей, вы бросились в воду с высокой скалы. И, отменные пловцы, поплыли в толще вод, соединив вытянутые вперед руки. Так протекли минуты. И наконец, в изрядном отдалении от берега, вы вместе вынырнули; ваши волосы перепутались, соленые струи стекали с них. Но что произошло там, под водой, отчего протянулся по волнам длинный кровавый след? Меж тем, едва лишь вынырнув, ты тотчас поплыл дальше и будто бы не замечал, что твой товарищ все слабеет. Он выбился из сил, ты же мощными гребками удалялся к туманной дымке горизонта. Он звал на помощь, ты же оставался глух. Трижды разнесся подхваченный эхом глас Режинальда, трижды выкликнул он твое имя, ты же трижды ответил ему ликующим возгласом. Берег слишком далек – ему не добраться, и он поплыл вслед за тобой, чтобы догнать и обрести желанный отдых, держась рукою за твое плечо. Без малого час продолжалась эта погоня жертвы за охотником, твой друг терял последние силы, ты же словно набирался новых. Но наконец, отчаявшись сравняться с тобой в скорости, он сотворил короткую молитву и вручил свою душу Всевышнему; перевернувшись на спину, он распластался, так что было видно, как сотрясается его младая грудь от бешеных ударов сердца, и, отбросив все надежды, приготовился к смерти. Твои же могучие руки вспарывали морскую гладь уже в непроглядной дали и уносили тебя все вперед и вперед, с быстротою идущего на дно стремительного лота. На счастье в это время мимо проплывала лодка рыбаков, которые, расставив в море сети, возвращались на берег. Они заметили бесчувственного Режинальда, решили, будто он – последний уцелевший после кораблекрушения, и подняли его в свой челн. На правом боку у него обнаружилась рана, столь небольшая и вместе столь глубокая, что опытные моряки поняли: ни рифы, ни камни не могли оставить подобного следа. Лишь колющее оружие, нечто вроде острейшего стилета, могло быть причастно к появлению на свет такого крохотного отверстия. Но ни тогда, ни после Режинальд не пожелал открыть, что приключилось с ним во время краткого визита в лоно волн, и сохранил донныне эту тайну. Гляди же, слезы струятся по щекам его и попадают на твою постель; бывает, вспомнить о несчастье горше, чем пережить его. Но тебя я жалеть не стану, – много чести! И не вращай так бешено глазами! Спокойствие! Ты все равно не шевельнешься. К тому же я еще не кончил свой рассказ. Выше меч, Режинальд, не отступайся так легко от мести. Как знать, не станешь ли потом раскаиваться. – Итак, время шло, и в тебе, Мальдорор, проснулась, хоть и не надолго, совесть; желая искупить свою вину, ты завел новую дружбу и решил на



этот раз чтить и лелеять своего избранника. Раскаиваясь в прошлых прегрешениях, ты окружил вторую жертву нежной заботой, каковой был лишен ее предшественник. Но все твои старанья были тщетны: никто не волен вдруг переменить натуру, душа твоя осталась прежней. Вторым избранником был я, Эльсенор. Ты поразил мое воображение с первой встречи. Тогда мы долго не сводили друг с друга глаз, и наконец ты улыбнулся. А я потупился, ослепленный дивным пламенем твоих очей. И у меня мелькнула мысль, что ты, возможно, под покровом ночи, спустился в этот мир с небес, с какой-нибудь сияющей звезды, ибо ты не походил на тварь из человеческого стада – я бы солгал, если б сказал иное – и лучистый нимб блистал над твоей головой. Мне страстно захотелось спознаться с тобою поближе, но нездешнее твое величие подавляло все мои поползновения, и безотчетный страх томил меня. О, для чего не внял я этому предостерегающему гласу! Ведь опасенья оказались не напрасны. Уловив мои застенчивые колебания, ты сам зарделся и первым протянул мне руку. Едва вложив свою ладонь в твою, я ощутил себя сильнее, меня овевало дыханье твоего высокого ума. И мы пошли вперед, навстречу ветру, трепавшему нам кудри, вдыхая пьянящий аромат мастиковых деревьев, жасмина, померанцев и гранатов. Дикий кабан стремглав пересек тропу прямо перед нами и, увидев меня с тобою, уронил слезу, но я не понял отчего. К ночи мы достигли ворот многолюдного града. На темно-синем фоне неба причудливым узором рисовались его купола, остроконечные минареты и мраморные колонны бельведеров. Но ты не пожелал остаться здесь на отдых, хотя мы оба изнемогали от усталости. Подобно ночным шакалам, скользили мы вдоль укрепленных стен, избегая встречи со стражниками и наконец, пройдя весь город, вышли из противоположных ворот и зашагали прочь от пестрого улья животных, наделенных разумом и не менее цивилизованных, чем бобры. Светляки освещали нам путь, сухие травы потрескивали под ногами, да прерывистый волчий вой порою нарушал тишину наших блужданий во мраке. Но что же заставляло тебя бежать от мест, где роятся люди? Тревожный этот вопрос не выходил у меня из головы, меж тем как все труднее становилось передвигать натруженные долгим переходом ноги. Наконец мы вышли на опушку густого леса; деревья здесь были оплетены паутиной лиан, вьюнов-паразитов, и заросли колючих кактусов преграждали путь. Ты остановился около березы. И велел мне преклонить колена для предсмертной молитвы: чтобы проститься с жизнью, ты оставлял мне четверть часа. Тут-то и открылся мне смысл тех быстрых взглядов, которые ты бросал на меня украдкой, тех непонятных жестов, которые я подмечал, пока мы шли – все всплыло в памяти. О, подозрения мои подтвердились! Я был несравненно слабее, и ты швырнул меня наземь с такой же легкостью, с какою ураган срывает трепетный осиновый листок. И вот уже одно твое колено прижимает мою грудь, другое упирается в сырую землю, одна рука сжимает, как в тисках, мои запястья, другая достает из ножен подвешенный на поясе кинжал. Спротивляться бесполезно, и я уже закрыл глаза, как вдруг дыханье ветра донесло до нас многокопытный топот – то приближалось стадо коров. Пастуший кнут да песьи зубы исправно его подгоняли, так что оно неслось, точно курьерский поезд. Времени было в обрез, и ты это понял; тогда, увидя, что твой замысел не удастся, ибо близость внезапной помощи удвоила силу моих мышц и ты теперь при всем старании не мог обездвижить обе мои руки, – тогда ты удовольствовался малым и, полоснув кинжалом, отсек мою правую кисть. Она упала на траву... Ты обратился в бегство, а я оцепенел от страшной боли. Не стану рассказывать, как нашел меня пастух и сколько времени прошло, пока я снова стал здоров. Скажу лишь, что после этой коварной измены я стал искать смерти. Бросаясь в гущу битвы, я подставлял свою грудь под пули. И вскоре снискал себе бранную славу, так что одно мое имя внушало трепет самым отважным воинам, а железная рука, заменившая утерянную, сеяла смерть и ужас в рядах неприятелей. Но однажды, когда грохот пушек далеко превосходил обычный, когда кровавый меч сметал, точно былинки, целые эскадроны, некий воин твердою стопою выступил мне навстречу, дабы оспорить лавры победителя. Враждующие армии застыли, взирая на нас. Мы долго бились, тела наши были изранены, шлемы покрылись трещинами. Наконец, по взаимному соглашению, мы решили прервать поединок, чтобы спустя немного времени, набравшись сил, возобновить его. В знак восхищения друг другом мы подняли забрала и...

– Эльсенор! – Режинальд! – едва переводя дыханье, вскрикнули мы разом. Как и я, Режинальд, снедаемый отчаяньем, предался ратному труду, и пули не брали его. И как же свела нас судьба! Но ни один из нас не произнес твоего имени! Мы поклялись в вечной дружбе, но, уж конечно, не такой, какая связывала нас с тобою! Горний архангел, Господень посланник, велел нам слиться воедино в паучьем образе и еженощно сосать твою кровь, пока по слову свыше не наступит конец этой каре. И целых десять лет мы посещали твое ложе.

С сегодняшнего дня ты избавляешься от нас. А что до того полузабытого тобою обещания, то оно дано не нам, а Ему, тому, кто много сильнее тебя, – ты дал его, ибо понял, что остается только покориться этой непреклонной воле. Очнись же, Мальдорор! Отныне снято заклятье, что сковывало целых десять лет твою спинно-мозговую систему".

Послушный этому приказу, он просыпается и видит, как две воздушные фигуры, обнявшись, растворяются в пространстве. Противясь сну, с трудом отрывает он от ложа затекшие члены, чтобы унять ледяной озноб, бредет туда, где тлеют угли в готическом камине. Одна рубаха прикрывает его тело. Он ищет глазами хрустальный графин – увлажнить пересохшее небо. Вот он распаивает ставни. Садится на окно. И смотрит на луну, самозабвенно расточающую свет и заливающую грудь его лучами, в которых с несказанной грацией трепещут, как планеты, серебристые пылинки. И ждет, чтобы рассвет, преобразив весь мир, принес хотя бы видимость покоя в его измученную душу.

Песнь VI

(1) О вы, чье завидное спокойствие служит только благообразию физиономии, не думайте, что вам снова придется читать строфы в дюжину строчек, какие осилит и школьник; слушать возгласы, которые сочтут непотребными, или заполосное кудахтанье кохинхинки, нелепее которого трудно вообразить, если вообще давать себе такой труд; а впрочем, декларации нуждаются в вещественном подтверждении. Неужто вы решили, что коль скоро я играючи и словно ненароком осыпал градом оскорблений, облеченных в не требующие истолкования гиперболы, людей, Творца и самого себя, то миссия моя на этом заканчивается? О нет, главное еще впереди, и к делу я почти не приступал. Всех трех поименованных чуть выше персонажей свяжут теперь нити романа, и таким образом они предстанут в не столь абстрактном виде. Живая кровь чудесно заструится в их жилах, и вы будете поражены, когда найдете там, где ожидали встретить лишь неопределенные и чисто умозрительные образы, жизнеспособный организм со всеми нервными узлами и слизистыми оболочками, но в то же время подчиненный высшему духовному началу, которое главенствует над физиологическим процессом. Пред вами в прозаическом облике (что не ослабит поэтического эффекта) предстанут вполне полнокровные существа, глядите, вот они стоят рядом с вами, скрестив на груди руки, и солнечные лучи, скользнув по черепичным крышам и каминным трубам, явственно освещают их самые что ни на есть земные, осязаемые кудри. Они не те, что прежде, не эфемерные создания, достойные анафемы чудовища, годящиеся лишь на то, чтобы смешить людей, – чудовища, которым лучше было бы остаться в голове того, кто их измыслил; и не кошмарные виденья, оторванные от реальности. Причем такое изменение пойдет моей поэзии лишь на пользу. Вы сможете потрогать собственными руками нисходящие ветви из ароты, пощупать их надпочечники, не говоря уже о чувствах! Впрочем, и начальные пять частей были бесполезны: они послужили фронтисписом моего произведения, фундаментом моей постройки, преамбулой моей новой поэтики; ведь должен же я был, прежде чем собрать чемоданы и отправиться в страну вымысла, дать искренним любителям словесности представление о цели, которую преследую, обрисовав ее, хотя бы на скорую руку, но точно и определенно. Теперь же обобщающая часть кажется мне вполне завершенной и убедительной. Вы уяснили из нее, что я бичую человека и его Творца. Достаточно с вас этого и на сегодня, и на будущее! Всякие новые рассуждения излишни: они лишь сделали бы более пространной, ничуть не изменяя, ту идею, к осуществлению которой я приступлю немедленно, не успеет склониться к вечеру сегодняшней день. Из вышеизложенного вытекает, что ныне я намереваюсь перейти к аналитической части, и это намерение столь непреложно, что несколько секунд тому назад во мне возникло страстное желание, чтобы читатель очутился в моей шкуре, проникнув туда через отверстия потовых желез, и убедился воочию в подлинности моих утверждений. Я отдаю себе отчет, что выведенную мною теорему необходимо подкрепить изрядным числом доказательств, ну что же, в них нет недостатка, и вам известно, что я ни на кого не нападаю без всяких оснований! Меня разбирает смех при мысли, что вы осудите меня за то, что я так яростно клянчу человеческий род, к которому принадлежу и сам (меж тем уже это одно могло бы послужить мне извиненьем!), и Божественный Промысел; нет, я не отрекусь от собственных слов, и мне нетрудно будет оправдать их, прибегнув только к истине и

рассказав о том, что видел. Итак, я приступаю к роману длиною в три десятка страниц, и впредь объем моих творений будет таким или почти таким же. Давно уже лелеял я надежду, что все мои идеи очень скоро, со дня на день, облекутся в ту или иную литературную форму, и наконец, после многих бесплодных попыток, такая форма нашлась! И оказалась лучшею из всех возможных – ибо нет ничего лучше романа! Это путаное вступление может показаться несколько, так сказать, вычурным и сбить с толку читателя, который перестанет понимать, к чему я, собственно, веду, но все мои усилия к тому и сводились, чтобы привести его в совершенное недоумение, так как это и есть то состояние, в которое следует повергать всякого, кто имеет обыкновение зачитываться книгами и книжонками. Да, впрочем, даже и помимо моего желания иначе не могло бы быть; лишь позже, когда таких романов станет больше, смысл этого написанного рукою мрачноликого отступника вступления откроется для вас.

(2) Что ж, будем продолжать нашу повесть, однако, как это ни глупо (на мой взгляд, глупо, а впрочем, всяк волен судить по-своему), не прежде, чем доставем все, что нужно для писания: перо, чернильницу и несколько недревесных листов. Вот так, ну, теперь я, кажется, готов вложить всю душу в мою шестую песнь и сотворить чреду чрезвычайно поучительных строф. Пусть они будут драматичны и безупречно дидактичны! Герой наш рассудил, что, бесконечно скитаясь по пещерам и выбирая прибежищем недоступные места, он поступает крайне нелогично, ибо оказывается в заколдованном круге. И правда, хотя в уединенье и глуши сей ненавистник человеческого рода и находил отраду, но алчный минотавр его кипящей злом души терзался голодом среди чахлых кустиков, непролазных терний и скудных диких лоз. Вот почему он решил перебраться поближе к людским скопищам, к их городам, где, мнилось ему, толпы жертв только и ждут, чтобы он, Мальдорор, явился насытить свою ярость.

Он знал, конечно, что полиция, сей щит цивилизованного общества, уже много лет упорно ищет его, и целая армия шпионов и сыщиков разыскивает его следы. Но до сих пор никому не удавалось схватить его. Мудрейшие из мудрых, хитрейшие из хитрых оказывались бессильны против его непостижимой ловкости, тщетно плели они сети, в которые, казалось, он неминуемо должен был угодить, – играючи ускользал от них Мальдорор. Он обладал даром изменять наружность, так что никто на свете не мог бы узнать его. Высокое искусство перевоплощения! – сказал бы я в поэтическом порыве. Презренные и недостойные уловки! – сказал бы я, оглядываясь на моральные устои. Как бы то ни было, но наш герой был в этом деле сущий гений. Быть может, вам случалось видеть в какой-нибудь сточной канаве Парижа сверчка – юркую, хрупкую, малую тварь? Так знайте же: то был не кто иной, как Мальдорор! Он напускает гибельный морок на цветущие столицы, парализует их магнетической силой, так что они уже не могут сопротивляться, как должно. И наваждение это тем более опасно, что нет возможности его предвидеть. Еще вчера Мальдорор был в Пекине, сегодня он в Мадриде, а завтра – где-нибудь в Санкт-Петербурге. А впрочем, не берусь сказать, где именно свирепствует сейчас мой новый, не в прозе, а в стихах воспетый Рокамболь, в каких краях он ныне сеет ужас, – на это не достаёт моих мыслительных способностей. Быть может, злодей за сотни миль от вас, а может быть, всего лишь в двух шагах – кто знает! Не просто уничтожить человечество единым махом – как-никак есть закон и власть, – но опустошить людской муравейник, передавав всех поодиночке, – вполне возможно, было бы терпенье. Хотите ли знать, с тех незапамятных, доисторических времен, когда я был дитятей и жил среди первых из людей, ваших самых далеких предков, еще не искушенный в искусстве строить козни, – с тех пор и до сегодняшнего дня, плетя интриги и меняя обличья, я во все эпохи опустошал страну за страной, подстрекая одних смертных на кровавые завоевания, других на междоусобные распри, раздувая пламя братоубийственных войн, – и разве таким образом не растоптал я, то по одному, то толпами, целые поколения, так что несть числа погибшим? Успехи прошлого внушают радужные надежды на грядущее – оно их непременно оправдает. Я чувствую, что эти мои строфы следует подвергнуть основательной прополке, приняв за образец естественную риторику, поучиться которой я намерен у дикарей. Вот истые аристократы: они так величавы и непринужденны, с татуированных их уст стекают речи, исполненные грации и благородства. Свидетельствую: в нашем мире нет ничего, над чем пристало бы смеяться. Все, что в нем есть нелепого, возвышенно по сути. Когда же я достаточно овладею желанным стилем – хоть кое-кто узрит в нем примитивность (тогда как он, напротив, есть перл глубокомыслия), – тогда употреблю его для изложения идей, которые, увы, быть может, не покажутся великими! Избавившись тем самым от обычной скептически-насмешливой манеры и обретя благоразумие, чтобы не задавать... о чем, бишь, я... забыл начало фразы. Но знайте, поэзия

езде, где только нет дурацкой и глумливой улыбки человека, с его утиной рожей. Вот только высморкаюсь и снова мощной дланью подхватываю перо, на миг лишь выпущенное перстами. О мост Каррусель, как смог ты оставаться безучастным, услышав душераздирающие крики, что исходили из мешка!*

I

(3) Витрины магазинов на улице Вивиен* восхищают взоры прохожих своим великолепием. Залитые светом множества газовых рожков, в них ослепительно сияют шкатулки красного дерева и золотые часы. Куранты на здании Биржи пробили восемь – час еще не поздний! Но лишь только отзвучал последний удар, как всю поименованную улицу, от Королевской площади до бульвара Монмартр, объяла дрожь – сотрясались даже каменные стены домов. Встревоженные прохожие ускорили шаг, спеша укрыться в своих жилищах. Какая-то женщина рухнула без чувств на мостовую. И никто не пришел ей на помощь, все бегут прочь. Захлопываются ставни, обыватели прячутся под одеяла. Не чума ли нагрянула? Так в час, когда весь город готовится к веселому ночному бдению, улица Вивиен внезапно цепенеет. Жизнь замирает на ней, как в сердце, покинутом любовью. Однако скоро весть о происшествии распространяется среди обитателей других кварталов, и мертвое затишье охватывает всю божественную столицу. Где газовые фонари? Где жрицы любви? Все пусто... все темно и немо! Вот от церкви Магдалины прямо к Престолу Всевышнего стрелой промчалась сова с покалеченной лапой, крича: "Беда! Идет беда!" Когда бы в ту минуту вы очутились здесь: в местах, которые мое перо (мой верный друг и спутник) сделало таинственно-зловещими, – и взглянули туда, где к улице Вивиен примыкает улица Кольбер, то непременно увидели бы на их скрещенье фигуру человека, который легким шагом направляется к бульварам. И если бы кто-нибудь приблизился к нему, но только осторожно, не привлекая его внимания, то был бы приятно удивлен, найдя его совсем юным! Меж тем как издали казалось, что это человек в годах. Да ведь не суммой прожитых дней измеряется глубина ума, запечатленная на задумчивом лице. Но я могу вам с точностью сказать, читая физиогномические линии его чела: ему шестнадцать лет, шестнадцать лет и четыре месяца! И он прекрасен, как железная хватка хищной птицы, или как судорожное подрагивание мышц в открытой ране заднешейной области, или, скорее, как постоянно действующая крысоловка, в которой каждый пойманный зверек растягивает пружину для следующего, так что она одна, даже спрятанная в соломе, способна истребить целые полчища грызунов, или, всего вернее, как соседство на анатомическом столе швейной машины с зонтиком!* То Мервин, сын светлокудрой Англии; закутавшись в тартан*, он возвращается под отчий кров с урока фехтования. Теперь половина девятого, и он рассчитывает к девяти добраться до дому – о дерзостная, опрометчивая уверенность, будто нам известно, что сулит нам будущее! Разве не может какое-нибудь внезапное препятствие задержать его? И разве такие обстоятельства столь редки, чтобы посчитать их исключением? Не правильнее ли, наоборот, увидеть аномалию в том факте, что до сих пор он жил безбедно и, как говорится, счастливо? Что, в самом деле, дает ему право полагать, будто он доберется домой невредимым, коль скоро некто уже подстерегает его, наметив своею жертвой? Я был бы слишком мало искушен в ремесле романиста, если бы не предварил задерживающими повествование вопросами фразу, которая должна была впоследствии и которую я теперь завершаю. Конечно, вы узнали абстрактного героя, который вот уж столько времени тиранит своей могучей волей мой бедный мозг? Да, это Мальдорор, и он то приближается к Мервину, чтобы запечатлеть в своей памяти юношеские черты, то, резко отклонившись, пятится, подобный австралийскому бумерангу в заключительной фазе полета или, точнее, подобный адской машине. Однако было бы неверно заподозрить, что в нем зашевелился хотя бы зародыш сочувствия. В какой-то миг он снова отступает и словно направляется в другую сторону – уж не совесть ли его удерживает? Но нет, увы, вновь и вновь гонит его вперед ожесточенье. А Мервину все невдомек, отчего это так стучит кровь в его висках, он ускоряет шаг, объятый ужасом, причины коего не знаете ни вы, ни он. Он, правда, прилагает все старанья, чтобы понять, в чем дело. Ему бы обернуться. Все сразу разъяснилось бы. Но почему-то никто, как правило, не вспоминает о самых примитивных способах избежать беды. Случается, шатающийся по задворкам какой-нибудь грязной окраины, оборванный, упившийся дешевым зельем бродяга приметит вдруг на заборе матерого коту, свидетеля всех



революций, что пережили наши деды, который мирно созерцает залитый лунным светом ночной пейзаж; пригнувшись и петляя, подкрадывается он поближе и кличет колченогую собаку. Благородный представитель семейства кошачьих отважно встречает врага и дорого продает свою жизнь. А назавтра его электризирующая шкурка угодит к старьевщику. Так отчего же он не спасся бегством? Ведь это было бы так легко. Что же касается Мервина, то он еще усугубляет грозную ему опасность незнанием ее. Порой, очень редко, какие-то догадки возникают в его голове, но смутные, весьма и весьма смутные, они никак не позволяют увидеть истину. Он не пророк, не спорю, такого дара за собою он не знает. Дойдя до широкой улицы, он пересекает бульвары Пуассоньер и Бон-Нуviel. Здесь он сворачивает на улицу Фобур-Сен-Дени, минует железнодорожную станцию страсбургской ветки и, не дойдя до перпендикулярного скрещенья этой улицы с улицей Ла Файет, останавливается у дома с высоким порталом. Вы, кажется, рекомендуете мне закончить в этом месте первую строфу, что ж, я готов на этот раз пойти навстречу вашему желанью. Но знайте, неодолимая дрожь пробирает меня и волосы становятся дыбом при мысли о железном кольце, что спрятала под камень рука маньяка*.

//

(4) Итак, он нажимает на медную кнопку звонка, и ворота выстроенного в современном стиле дома поворачиваются на петлях. Вот он пересекает двор по песчаной дорожке и, преодолев восемь ступеней, поднимается на крыльцо. Две статуи, стоящие по сторонам от входа, точно привратники на вилле знатного вельможи, не преграждают ему путь. За ним не преминул последовать и тот, кто все отринул: отца и мать, любовь и идеал, и даже Божью волю, чтоб обратить все помыслы на самого себя. Он видел, как Мервин вошел в просторную, отделанную сердоликовыми панелями залу. Любимый сын упал на софу, не в силах от волнения произнести ни слова. Матушка, в длинном платье со шлейфом, бросается к нему и обнимает. Братишки окружают обремененную столь тяжким грузом софу, их жизненный опыт слишком мал, чтобы они могли понять смысл происходящего. И наконец отец семейства воздевает трость, окидывает властным взглядом домочадцев, с трудом отрывается от любимого кресла и с заботливой поспешностью, хотя и несколько умеренной годами, устремляется к своему неподвижно распростертому первенцу. Все с трепетом внимают его речам на иностранном языке. "Кто, кто довел мое дитя до такого состояния? Туманная Темза еще успеет унести немало ила, прежде чем силы окончательно изменят мне. В сей нерадушной стране, похоже, вовсе нет законов, охраняющих порядок. О, если бы я знал виновника, он испытал бы на себе, как я ужасен в гневе. Хоть я давно в отставке и удалился от шумных морских сражений, но моя коммодорская шпага* еще не заржавела на стене. А если что, ее нетрудно наточить. Приди в себя, Мервин. Не тревожься, я отдам приказание слугам разыскать злодея, и он, клянусь, умрет от моей руки. Жена, оставь его, присядь где-нибудь в стороне, твой взгляд лишает меня твердости, останови поток, что струят твои слезные железы. Очнись, мой сын, умоляю, очнись, признай своих родных, это я, твой отец, говорю с тобой..." И матушка отходит в сторону и, повинувшись приказанию супруга, садится с книгою, пытаюсь сохранить невозмутимость, когда жизнь детища, что выношено ею, в опасности. "... Вы же, дети, ступайте в парк, поглядите, как плавают лебеди, но только будьте осторожны, не свалитесь в пруд". Растерянные братья - все как один в беретах, украшенных пером каролинского козодоя, все в бархатных, до колен, панталонах и красных шелковых чулках, - не говоря ни слова, берутся за руки и удаляются из зала, едва-едва касаясь половиц из драгоценного черного дерева. Они, я уверен, не станут играть, а будут степенно бродить в платановых аллеях. Они не по годам разумны. И в том их благо. - "... Все бесполезно, я обнял тебя, я качаю тебя на руках, но ты бесчувствен ко всем моим мольбам. Приподними же голову! Ну, хочешь, я облобызаю твои колена? Тщетно... голова безвольно падает". - "О добрый мой супруг, позволь своей верной рабе сходить за флаконом со скипидарным маслом; я прибегаю к нему всякий раз, когда по возвращенье из театра иль после долгого и утомительного чтения, какой-нибудь волнующей истории, почерпнутой в древнейших британских летописях и повествующей о рыцарских деяньях наших доблестных предков, мигрень сжимает мне виски". - "Я не давал тебе дозволения заговорить, жена, и ты должна была молчать. Ни разу за долгие годы нашего законного союза не пробегала между нами тень раздора. Я всегда был тобою доволен, мне не в чем

было упрекнуть тебя, как и тебе – меня. Ступай скорее в свои покои и принеси флакон скипидарного масла. Я знаю сам, что он лежит в твоём комодe, и не нуждаюсь ни в каких подсказках. Так поспеши же вверх по крутым ступеням винтовой лестницы и возвращайся с радостным лицом". – Чувствительная англичанка успела лишь взойти на несколько ступеней (не станет же она бежать, точно простолюдинка), а ей навстречу сверху уже спешит разгоряченная прислужница, держа в руках хрустальный флакон, заключающий влагу, способную, быть может, стать живительной*. С учтивым поклоном подает она склянку госпоже, а та, ступая, словно королева, подходит к обшитой бахромой софе, предмету, к которому единственно устремлена вся нежная ее заботливость. Величественно и благосклонно протянув руку, коммодор берет у супруги флакон. И вскоре увлажненный целительной жидкостью платок из индийского шелка обвился вокруг головы Мервина. Юноша вдыхает соли, и наконец рука его вздрогнула. Он оживает, и филиппинский какаду, сидящий на жердочке в оконном проеме, приветствует его радостными возгласами. – "Кто там идет?.. – восклицает бедный юноша, – Пустите скорее... Где я? Уж не в гробу ль покоится мое отяжелевшее тело? Как мягко в нем... А медальон, цел ли медальон с портретом матушки у меня на груди?.. Там, сзади, косматый бандит. Я вырвался, оставил у него в руках полу сюртука. Спустите с цепи бульдога: ныне ночью, пока мы будем спать, тот самый злоумышленник может взломать запоры и проникнуть в дом. Теперь я узнаю вас, отец и матушка, и я благодарю вас за заботу. Зовите скорее братишек. Мне хочется их приласкать, я принес им орешков". Проговорив все это, Мервин впал в летаргию. Срочно призванный врач воскликнул, потирая руки: "Что ж, кризис миновал. Отлично! Завтра ваш сын проснется здоровым. Теперь же предписываю всем разойтись по своим покоям, я один останусь при больном и просижу, пока не заблестит заря и не засвищет соловей". Меж тем Мальдорор, притаившись за дверью, не упустил ни слова. Теперь ему известен нрав всех домочадцев, и сообразно этому он будет действовать. Он знает, где живет Мервин, и это все, что ему нужно. Он занес в записную книжку улицу и номер дома. Вот главное. Теперь он не забудет. Никем не замеченный, тиеной обошел он весь двор. После чего проворно влез на ограду и, лишь на миг замешкавшись, чтобы не зацепиться за острия чугунных прутьев, спрыгнул на дорогу. И волчьей рысцой отправился восвояси. "Глупец! – воскликнул в мыслях Мальдорор. – Принять меня за бандита! Хотел бы я увидеть человека, которого не обвинишь в том, в чем винит меня больной. И полу сюртука никто ему не отрывал. Почудилось со страху. Я вовсе и не собирался бросаться на него сегодня, у меня совсем другие виды на этого робкого отрока".

Когда-нибудь, когда вы придете к озеру, где плавают лебеди, я расскажу вам, откуда взялся в стае белых птиц один, обремененный наковальней с распростертым на ней гниющим крабьим трупом, – один-единственный черный лебедь, которого с естественной опаской сторонятся его водоплавающие собратья*.

III

(5) Мервин один в своих покоях, он получил письмо. Но от кого же? В смятенье он позабыл вознаградить посыльного. Адрес на конверте с черною каймою написан чьей-то торопливою рукою. Быть может, показать отцу? А вдруг в письме содержится предупреждение не делать этого? Встревоженный, Мервин раскрыл окно, чтобы вдохнуть благоуханный воздух, и солнечные лучи ворвались в комнату и заиграли радужными отблесками на гранях венецианских зеркал. Мервин швырнул письмо на свой ученический стол, обтянутый тисненой кожей, где громоздились книги с золочеными обрезами, лежали альбомы в перламутровых переплетах. Откинув крышку пианино, он пробежал по клавишам слоновой кости своими тонкими длинными пальцами. Но латунные струны остались немые. Это косвенное предостережение вернуло мысли юноши к посланию на веленовой бумаге, он протянул к нему руку, но, словно оскорбленное пренебреженьем адресата, оно отпрянуло. В Мервине же разыгралось любопытство, он поспешно вскрыл конверт и вынул заключенный в нем клочок бумаги. До сей поры ему еще не доводилось видеть чужого почерка. Послание гласило: "Вы нравитесь мне, юноша, и я хотел бы составить ваше счастье. Я приглашаю вас стать моим спутником в далеком путешествии на острова Океании. Мервин, ты знаешь, я люблю тебя, и этому не нужно доказательств. И ты, я убежден, ответишь мне дружеской приязнью. А узнав меня поближе, не раскаешься в том, что доверился

мне. Я стану оберегать тебя от всех опасностей, которым подвергает тебя твоя неискушенная младость. Я буду тебе братом, неустанным добрым советчиком. Чтобы узнать обо всем подробнее, приходи послезавтра в пять часов утра на мост Каррусель. Если я опоздаю, дожись меня, но, впрочем, я надеюсь, явиться вовремя. Постарайся и ты. Настоящий англичанин никогда не упустит возможности вникнуть в то, что так близко затрагивает его интересы. Итак, до скорого свиданья, юноша. Никому не показывай это письмо". - "Внизу, вместо подписи, три звездочки и кровавое пятно!" - вскричал Мервин. Обильные слезы хлынули из глаз его на странные строки, которые он пожирал глазами и которые открыли пред мысленным его взором неизведанные и неясные дали. И вот уж в голову его закралась мысль (а прежде, пока он не читал письма, такого не бывало!), что отец его чересчур суров, а матушка - слишком напыщенна. Нашлись причины - но мне они остались неизвестны и потому я их не сообщаю - к тому, что и братья показались ему нехороши. Он спрятал письмо на груди. В тот день учителя заметили, что их ученика как будто подменили, глаза Мервина помрачнели: тень неотступных дум легла вокруг глазничных впадин. И каждый из наставников краснел от смущенья, боясь, что не сможет сравниться в интеллекте с таким учеником, меж тем как тот впервые не выполнил заданий и ничего не делал на уроках. С наступлением вечера все семейство сошлось в украшенной старинными портретами столовой. Перед Мервином выстроились блюда с сочным мясом, вазы с ароматными плодами, но он не притронулся к пище; и взора его не прельстили ни блещущие всеми цветами радуги рейнские вина, ни пенно-рубинное шампанское в кубках богемского хрусталя. Погруженный в свои мысли, он с видом сомнамбулы сидел за уставленным яствами столом. Вот коммодор обратил свое просмоленное солеными морскими ветрами лицо к супруге и прошептал: "Наш старший сын сильно переменялся с того дня, как с ним случился приступ; за ним и прежде водилась чрезмерная склонность к нелепым причудам, теперь же он и вовсе витает в облаках. Я в его годы был совсем иным. Но вот что, делай вид, как будто ничего не замечаешь. В подобном случае полезно решительное воздействие, не физическое, так моральное". - "Послушай, Мервин, я прочту тебе рассказ, который придется тебе по душе, ведь ты охотник до книг натуралистов и путешественников. Пусть все остальные тоже внимательно слушают, ибо каждый - и я в первую голову - извлечет из услышанного пользу. Вы же, дети, внимательно вникая в каждое слово, оттачивайте и свой собственный стиль, старательно следите за ходом мысли автора!" Как будто птенчики способны разбираться в тонкостях риторики! Закончив эту речь, отец повелительно протягивает руку, и один из мальчуганов идет в библиотеку и приносит увесистый том. Посуда и серебряные приборы убраны со стола, книга раскрыта. Услышав притягательное слово "путешествия", Мервин восторженно и попытался отогнать несвоевременные думы. Коммодор принимается читать откуда-то из середины, и в голосе его звучит металл - он и теперь, как в годы славной молодости, мог бы отдавать команды, перекрывая грохот бури. Однако же задолго до того, как подошла к концу история, Мервин вновь опустил голову на руку, не в состоянии следить за бесконечной цепью тонких рассуждений, продетой сквозь намыленные кольца обязательных метафор. "Ему неинтересно, - сказал отец, - что ж, поищем что-нибудь другое. Читай теперь ты, жена, быть может, ты окажешься удачливей меня и сумеешь победить тоску, что омрачает дни нашего детища". Не слишком веря в успех, матушка берет другую книгу, и нежное ее сопрано наполняет уши того, кто ею был зачат. Но, чуть начав, она отчаивается и прекращает художественное чтение. "Пойду лягу спать", - произносит первородный сын и, не прибавив более ни звука, удаляется, уставя хмурый неподвижный взор себе под ноги. И вслед ему собака, удивленная столь странным поведением, отрывисто и хрипло лает, а буйный ветер, проникающий снаружи сквозь щель в оконной раме, колышет пламя в бронзовой лампе, увенчанной двумя плафонами из розовеющего хрусталя. Мать сжимает виски, отец возводит очи к небу. А малые детишки смятенно смотрят на старого морехода. Мервин же, запершись в своих покоях на два поворота ключа, лихорадочно водит пером по бумаге. "Я получил ваше письмо нынче в полдень, простите, что замешкался с ответом. Не имея чести знать вас лично, я сомневался, следует ли вам писать, но меня учили быть всегда учтивым, и потому я все же решился взяться за перо и выразить мою горячую признательность за то участие, которое вы принимаете в человеке, вам совершенно не знакомом. Да сохранит меня Господь ответить неблагодарностью на чувство, которым вы удостаиваете меня. Я знаю свои недостатки и вовсе ими не кичусь. Но если допустить возможность дружеского союза с человеком намного взрослее меня, следует, мне кажется, предупредить его о несходстве наших характеров. Судя по тому, что вы называете меня юношей, вы, должно быть, старше меня, хотя я не уверен, что это и на самом деле так. Ибо сдержанный слог вашего письма противоречит страсти, которой оно дышит.



Разумеется, я не покину отчий кров, чтобы ехать с вами в дальние края, это было бы возможно лишь в том случае, когда бы я испросил позволения тех, кому обязан жизнью, и, признаюсь, я желал бы его получить. Но вы предписываете абсолютное (в кубе!) молчание, велите не упоминать ни словом об этой дышащей холодной тьмой духа тайне, и я неукоснительно исполню вашу волю. Мне кажется, что это дело вообще не чурается дневного света. Вы, видимо, желаете, чтобы я вам верил (и это, следует заметить, весьма разумное желание), так почтите же и вы меня доверием и не оскорбляйте предположением, будто я могу настолько пренебречь вашей просьбой, чтобы не явиться на свиданье послезавтра утром, в назначенный час. Наши ворота будут еще закрыты, поэтому я перелезу через ограду, никем не замеченный. Говорю вам со всею искренностью: нет такой вещи, которой я не сделал бы для вас, - для того, кто внезапно явил моему ослепленному взору столь удивительное чувство; осыпал меня щедротами, каких я никогда не ожидал. Не ожидал, так как не знал вас. Зато знаю теперь. Не забудьте же: вы обещали быть на мосту Каррусель. И я уверен, уверен непоколебимо, что, проходя там, непременно встречу вас и коснусь вашей руки; не правда ли, этот порыв отрока, еще вчера склонявшегося перед алтарем целомудрия, не сможет оскорбить вас своей почтительной вольностью. Впрочем, вольность вполне простительна между теми, кто связан друг с другом сильным и пылким чувством, кто безвозвратно и сознательно предался греху. И что, спрашиваю я вас, - что за беда, если я поприветствую вас мимоходом, коль скоро, все равно, какая бы погода ни была, пять часов неминуемо пробьет? Вы, как джентльмен, оцените деликатность, не позволившую мне доверить больше того, что я здесь написал, листку бумаги, который может затеряться, выпорхнув из моих рук. Ваш адрес в конце письма - форменный ребус. И мне понадобилось добрых четверть часа, чтобы разгадать его. Но, вероятно, вы поступили правильно, начертав его микроскопическими буквами. Следуя вашему примеру, не ставлю подписи: в наше причудливое время может легко произойти все что угодно. Хотел бы я знать, каким образом удалось вам отыскать место, где я томлюсь в оковах хладной неподвижности, среди анфилад пустынных залов, где, как в гробнице, погребены мои часы и дни. Я не могу все высказать словами. Но стоит мне только подумать о вас, как в груди вскипает буря, подобная крушению одряхлевшей империи, я вижу тень вашей любви с улыбкой на устах, а, может быть, мне только чудится улыбка: ведь это только тень, только зыбкая игра изменчивых извивов. Вручаю вам свои пробудившиеся чувства, похожие на мраморные плиты, чья девственная чистота не нарушена прикосновеньем человека. Итак, дождемся первых проблесков зари, пока же не настал тот миг, когда я брошусь в ваши погибельные объятия, смиренно припадаю к вашим коленям!" Закончив это нечестивое письмо, Мервин отнес его на почту и вернулся к себе. И увы! ангел-хранитель не спустился к его изголовью. Да, рыбий хвост будет лететь всего три дня, но балка все равно сторит дотла, и цилиндрически-коническая пуля, несмотря на все усилия снежной девы и нищего, вонзится в шкуру носорога! А все оттого, что коронованный безумец скажет правду о меткости четырнадцати кинжалов!*

IV

(6) Я вдруг заметил, что у меня всего лишь одно око посередине лба! О серебряные зеркала, висящие на стенах коридоров, сколько раз ваша отражающая сила служила мне добрую службу! Когда-то ангорская кошка, чьих маленьких детенышей я бросил в кипящий спирт, вскочила мне на загривок и целый час, точно бурав хирурга, вгрызалась в мою голову; с тех пор еще не раз я обрекал себя на пытки. И вот сегодня, глядя на следы бесчисленных ран различного происхождения - одни появились по воле рока при моем злополучном рождении, другие я снискал по собственной вине (и это только часть того, что я должен вытерпеть, кто сможет предсказать, что будет дальше?), - бесстрастно созерцая врожденные и приобретенные увечья, которыми украшены апоневрозы* и душа покорного вашего слуги, я долго размышлял о раздвоенности, лежащей в основе моей личности, и... находил себя прекрасным! Прекрасным, как аномалия в строении детородного органа, что выражается в недостаточной длине мочеиспускательного канала и разрыве или отсутствии его внутренней стенки, так что этот канал кончается на большем или меньшем расстоянии от головки полового члена или вовсе под ним; прекрасен, как мясистый нарост конической формы, прорезанный глубокими продольными морщинами, что возвышается у основания клюва индюка; прекрасен, как истина, гласящая, что система гамм и

ладов, а также их гармоническое чередование не основаны на природных закономерностях, а, напротив, есть результат использования эстетических принципов, которые менялись с развитием человеческого общества, как меняются и теперь; прекрасен, что всего вернее, как боевой корвет с броневыми башнями! Именно так, могу поручиться за точность сего утверждения. Я вовсе не склонен самовлюбленно обольщаться на свой счет и тем горжусь, да и что пользы лгать? – поэтому вы можете без колебаний принять на веру то, что я сказал. Зачем мне проникаться отвращением к себе, когда я слышу только похвалу от собственной совести? Я не питаю зависти к Творцу, пусть только не мешает мне плыть по течению моей судьбы, через каскады славных преступлений. А коли станет мне препятствовать, то я, уставив раздраженный взор в его лицо, без труда докажу ему, что не один он властвует над миром и что немало доводов, основанных на глубочайшем знании природы, решительно опровергают версию единовластия. Нас двое, вот мы лицом к лицу, на равных, гляди же... и уж кому как не тебе знать, что я не трубил победу своим безгубым ртом. Прощай, великий воин, тебе и в поражении не изменяет мужество, и твой заклятый враг тобою восхищен; однако грядет Мальдорор, чтобы оспорить у тебя свою жертву, что зовется Мервином. И так свершится пророчество петуха, прозревшего будущее в канделябре. Да будет небу угодно, чтобы краб успел настигнуть караван паломников и передать им то, о чем поведал некий тряпичник из Клиньянкура!*

V

(7) Этот человек вышел с улицы Риволи к скверу Пале-Рояль и сел на скамью по левой стороне, неподалеку от фонтана. Волосы его всклокочены, а одежда позволяет судить о длительных лишениях. Он раскопал острой палочкой ямку, набрал в пригоршню землю, поднес ее ко рту и тут же с отвращением отбросил. Он встал и, опираясь головою о скамью, направил ноги ввысь. Но такая поза, заставляющая вспомнить о канатоходцах, противоречит закону равновесия, в котором определяющую роль играет центр тяжести, и незнакомец рухнул на дощатое сиденье; шапка его съехала, руки беспомощно повисли, а ноги заскребли по гравию, ища опоры. В таком все более и более неустойчивом положении он оставался довольно долго. Но вот и наш герой – его рука легла на ограду сквера, у северного входа, близ ротонды, где помещается кафе. Описав глазами круг, он остановил взгляд в центре и заметил человека, проделывавшего шаткие гимнастические упражнения около скамейки, на которую безуспешно пытался взгромоздиться, проявляя при этом чудеса силы и ловкости. Но даже наилучшие порывы, обращенные к благороднейшей цели, обречены на неудачу в столкновении с разрушительной стихией душевного расстройства. Герой подходит к сумасшедшему, любезно помогает ему вернуться в достойную человека позицию и сам садится с ним рядом. Безумие несчастного не беспрерывно, приступ проходит – и он уж в состоянии разумно говорить с нечаянным соседом. Есть ли смысл приводить его рассказ? С кошунственной поспешностью раскрывать, где придется, книгу человеческих страданий? И все же это очень поучительно. Тем более что среди описываемых мною событий нет и не будет ни одного подлинного, ибо я наполняю ваши головы лишь вымыслом. Что же до этого безумца, то он помешался не по собственной прихоти, и искренность его повествования сродни доверчивости читателя. Итак: "Мой отец был плотником и жил на улице Веррери. О, пусть падет на его голову смерть трех Маргарит, пусть вечно клжует зрительную ось его глазного яблока злосчастная канарейка! Одно время он часто напивался пьяным и, когда, обойдя все трактиры, возвращался домой, то в приступе неукротимого буйства крушил все без разбора. Потом, осыпаясь попреками друзей, совершенно избавился от пагубной привычки, но стал угрюм и молчалив. Никто, даже наша матушка, не смел к нему подступиться. Казалось, он был втайне зол на то, что чувство долга обуздало его нрав и не давало разгуляться. Как-то раз я принес в подарок трем моим сестрицам кенаря. Они посадили его в клетку, которую подвесили над дверью, и все прохожие останавливались послушать птичку и полюбоваться ее проворством и чудесным оперением. Отец же настаивал, чтобы клетку с кенарем убрали, ему мнилось, будто птица насмехается над ним, когда встречает его прозрачными трелями, являя высший класс вокального искусства. И наконец однажды он сам полез снимать клетку с гвоздя, но в слепой ярости оступился, упал со стула и расшиб себе колено. Потерев распухшее место стружками, он опустил штанину и, насупившись, снова влез на стул, на этот



раз с большей осторожностью. Снял клетку, зажал ее под мышкой и унес к себе в мастерскую. Там, невзирая на слезы и мольбы всего семейства (мы все любили птичку, считали ее добрым духом нашего дома), он принялся топтать плетеную клетку подкованными сапогами, размахивая вокруг головы фуганком, чтобы никто не подходил к нему. Кенарь превратился в перепачканный кровью комочек перьев, но каким-то чудом не издох. Наконец плотник, с треском захлопнув дверь, ушел. Мы с матушкой, как могли, пытались удержать в тельце птички ускользающую жизнь, но она умирала, и, хоть крылышки еще трепетали, то были лишь судороги предсмертной агонии. Когда же три Маргариты увидели, что исчезает всякая надежда, они взялись за руки и эта печальная живая цепочка втянулась под лестницу и, отодвинув бочонок с жиром, уткнулась в угол у собачьей конуры. Матушка меж тем не оставляла усилий, не выпускала кенаря из рук и все пыталась отогреть его своим дыханием. Я же метался, потеряв голову, по комнатам, натыкался на мебель и опрокидывал отцовские инструменты. По временам то одна, то другая из сестер высовывали голову из-под лестницы, чтобы узнать, что случилось с птичкой, и вновь горестно скрывались. Собака вылезла из конуры, она как будто понимала всю глубину нашего горя, и движимый бессильным соболезнованием ее язык лизал платье сестер. Кенарь был почти мертв, когда в полумраке – причину которого служило недостаточное освещение, – в полумраке лестничного проема показалась голова Маргариты (младшей из трех, ибо настал ее черед). Сестра увидела, как побледнела матушка, а кенарь конвульсивно встрепенулся – то было последнее проявление нервной деятельности умирающего – и поник в державших его пальцах, затихнув навсегда. Девушка передала страшное известие старшим сестрам. Оно не вызвало ни возгласа, ни стоны. Молчанье воцарилось в мастерской. Лишь слышалось потрескивание обломков раздавленной клетки, которые, в силу чрезвычайной упругости ивовых прутьев, принимали, насколько возможно, первоначальную форму. Три Маргариты не уронили ни слезинки, их лица не утратили природных красок, нет... они просто застыли без движения, забравшись в будку, они лежали на соломе друг подле друга, а пес удивленно на это взирал. Напрасно мать звала их – в ответ не донеслось ни звука. Быть может, обессилев от переживаний, они уснули! В бесплодных поисках матушка обошла весь дом. Наконец собака схватила ее за подол и привела к конуре. Несчастная нагнулась и заглянула внутрь. Конечно, материнская чувствительность всегда излишне склонна к преувеличению, но даже и на мой холодный взгляд то, что предстало ее взорам, было, по меньшей мере, прискорбно. Я зажег свечу и осветил конуру, чтобы она могла разглядеть все до мелочи. Когда же она извлекла голову и вместе с нею запутавшиеся в волосах соломинки из этой преж- девременной гробницы, то произнесла: "Три Маргариты мертвы". Мы не могли достать их, так тесно сплелись их тела, и я пошел за молотком, чтобы разрушить собачью обитель. Затем так рьяно взялся за сокрушительный этот труд, что каждый, кто проходил мимо нашего дома и обладал хоть крупицей воображения, мог заключить, что мы не страдаем от недостатка заказов. Матушка, вне себя от нетерпенья и вопреки здравому смыслу, пыталась, ломая ногти, разломать конуру голыми руками. Наконец операция по вызволению усопших успешно завершилась; стенки будто развалились, и под обломками мы обнаружили останки всех трех дочерей плотника и вытащили их, не без труда разжав их сцепленные руки. Вскоре после этого матушка уехала на чужбину. Отца я больше не видал. Я же, как говорят, сошел с ума и теперь живу подаянием. А кенарь больше не поет, уж это точно". Сия повесть доставила немалое удовольствие тому, кто ее слушал, ибо он узрел в ней новое подтверждение своим богомерзким идеям. Как будто преступление какого-то хлебнувшего лишку плотника дает основание осуждать все человечество. А именно такое парадоксальное заключение он всеми силами пытался внедрить в свой мозг, хотя оно и не могло свести на нет данные, накопленные обширным опытом. С притворным сочувствием утешает он сумасшедшего; собственным чистым платком утирает ему слезы. Ведет его в ресторан – и вот несчастный сыт. Оттуда – к модному портному – и вот бродяга одет, как принц. Затем – в подъезд фешенебельного дома на улице Сент-Оноре – и вот безумец водворен в роскошные апартаменты на четвертом этаже. Злодей вручает Агону* свою мощну и, вытащив из-под кровати ночной горшок, надевает ему на голову и с нарочитой пышностью изрекает: "Объявляю тебя королем мудрецов. Знай, я являюсь по первому же зову, и все мои богатства всегда в твоём распоряжении. Я твой душой и телом. В ночное время можешь ставить свой алебастровый венец на прежнее место и даже использовать его по прямому назначению, но с самого утра, едва лишь первые лучи зари коснутся крыш, ты станешь водружать на голову сей символ власти. Во мне вновь оживут три Маргариты, и, уж конечно, я стану тебе матерью". Как будто недоумевая, не сон ли это наяву и не насмешка ли, несчастный отпрянул, затем лицо его, на

котором невзгоды оставили глубокие борозды, блаженно просияло, и он припал к коленям своего благодетеля. Сердце его, словно ядом, пропиталось благодарностью. Он хотел что-то сказать, но язык прилип к гортани. Тогда он попросту простерся ниц на каменном полу. А бронзоволикий герой исчез. Чего он хотел? Заручиться надежным другом, готовым, в простоте душевной, исполнить любой его приказ. Он не ошибся в выборе, случай помог ему. Ведь человек, которого он подобрал на парковой скамье, уже давно, с того злосчастливого дня своей молодости, перестал различать добро и зло. Такой Агон и нужен Мальдорору.

VI

(8) Дабы спасти юного Мервина от верной смерти, Всевышний послал на землю своего архангела. Ему придется снизойти и самому! Но мы еще не дошли до этого момента нашего повествования, и я вынужден пока молчать, ибо не могу выложить все сразу: каждому эффектному выпаду – свое время и место, и ничто не должно нарушать архитектуры моего словесного строения. Так вот, архангел, чтобы не быть узнанным, принял облик громадного, величиной с викуню*, краба. Взобравшись на риф посреди океана, он поджидал прилива, с которым мог бы выбраться на берег. Но яшмоликий мой герой, укрывшись в разрезе береговой линии, уже подстерегал ракообразного пришельца с дубиной в руке. Быть может, кто-нибудь полюбопытствует, чем были заняты мысли того и другого? Один из них отлично сознавал, сколь тяжела возложенная на него задача. "Как, – сокрушался он, – а волны все росли, захлестывая его временное прибежище, – как преуспеть мне там, где мощь и доблесть самого Владыки не раз бывали посрамлены? Моим силам положен предел, что же до противника, никто не ведает его природы и его умышлений. Одно его имя повергает в трепет небесное воинство, и там, откуда я явился, мне не раз доводилось слышать, будто Сатана, сам Сатана, воплощение зла, и тот не столь ужасен". А вот каковы были мысли другого, – мысли, чей отзвук достигал небесной сферы и осквернял ее лазурь. "Вид у него неискушенный, я быстро справлюсь с ним. Его, конечно, подослал сюда, на землю, тот, кто не решается спуститься сам! Сейчас я испытаю, так ли он несокрушим, как кажется. Он явно не рожден на нашем абрикосовидном шаре; блуждающий туманный взор выдает небожителя". Герой поднялся во весь свой геркулесов рост, и краб, окинув взглядом бескрайний берег, наконец его заметил и воззвал: "Сдавайся без сопротивления. Я послан тем, кто выше нас обоих, мне надлежит сковать тебя цепями и обездвижить твои конечности, дабы лишить их возможности быть соучастницами твоих бесчинств. Отныне, говорю тебе, рукам твоим возбраняется держать ножи и кинжалы, так будет лучше для тебя и для других. Я захвачу тебя живым или мертвым, хотя мне велено не умертвлять тебя. Не вынуждай меня прибегнуть к власти, каковой я облечен. Я постараюсь быть наивозможно деликатным, но и ты обуздай свою строптивость. Тогда с охотой и сердечной радостью я признаю, что ты сделал первый шаг к раскаянию". Больших усилий стоило злодею, слыша сию бесподобно комичную речь, сохранять серьезную мину на своем загорелом суровом лице. И все-таки в конце концов он разразился смехом, что, впрочем, и неудивительно. Сдержаться было невозможно! Но это не умышленно. Он вовсе не хотел обидеть краба! Он так старался подавить веселье! Он столько раз сжимал, что было сил, непослушные губы, чтобы не оскорбить насмешкой собеседника! К несчастью, в его природе было все же слишком много человеческого, и он смеялся, бляял, как овца! Но наконец остановился! И вовремя! Иначе мог бы задохнуться! И вот его ответ, подхваченный ветром, донесся до скалы архангела: "Когда бы твой хозяин вместо того, чтобы подсылать ко мне моллюсков и ракообразных, благоволил вступить со мной в переговоры лично, мы, я уверен, легко могли бы все уладить, ведь я, как ты заметил, действительно ниже того, кого ты представляешь. А до тех пор любые попытки примиренья мне кажутся бесплодными и преждевременными. Впрочем, я далек от того, чтобы отрицать заложенный в каждом произнесенном тобой словом здравый смысл, но, право, ни к чему нам понапрасну утомлять голосовые связки, покрывая трехкилометровое расстояние; не лучше ли тебе покинуть свою неприступную крепость и вплавь добраться до твердой земли, тогда бы мы спокойно обсудили условия, на которых я готов сдать себя, ибо, хотя я признаю законность этой меры, сие отнюдь не значит, что она желанна и приятна для меня". Архангел, не ожидавший подобной стоворчивости, высунул на пядь голову из расщелины и ответил: "О

Мальдорор, неужто впрямь настал день, когда погаснет яростное пламя нечестивой гордыни, разогревающее пагубные страсти, что увлекают тебя к вечному проклятию! И мне, мне достанется честь поведать об этой благой перемене всем херувимам, которые с восторгом примут в свои ряды бывшего брата. Ты помнишь, ты не мог забыть, что некогда был первым среди нас. И твое имя не сходило с наших уст, мы и донныне в дружеских беседах нередко вспоминаем о тебе. Приди же... приди и примиришься с прежним своим господином; он же примет тебя, словно блудного сына, и не попрекнет виной, которая отягощает твое сердце, как индейская пирамида из лосиных рогов". Увлекаясь вдохновенной речью, краб постепенно выкарабкивался из укромной щели. Пока не утвердился на самой вершине скалы, подобно пастырю, уверенному в том, что вывел к свету истины заблудшую овцу. Сейчас он прыгнет вниз, навстречу раскаявшемуся грешнику. Но сапфирилийский герой давно все рассчитал и нацелил коварную руку. Что есть силы метнул он дубину, которая, подсакивая на волнах, долетела до рифа и угодила прямо в голову миротворца-архангела. Сраженный насмерть краб свалился в воду. И волны прибили к берегу его останки. Он ждал прилива, чтоб достигнуть суши. Что ж, вот наступил прилив и подхватил его, и, бережно качая и убаккивая мерным шумом, донес до влажного песка... доволен ли ты, краб? Чего же боле? А Мальдорор, склонившись, принял в свои объятия двух друзей, которые срослись благодаря проникающей силе оружия: убитого краба и убийственную дубину! "Видно, я еще не потерял сноровки, - воскликнул он, - было бы к чему применить ее; по-прежнему крепка моя рука и меток глаз". Животное лишилось жизни. И Мальдорора схватил страх, не спросили бы с него за пролитую кровь. Где спрячет он архангела? А если он в бесчувствии, но не вовсе мертв? Злодей взвалил на плечи наковальню и, прихватив крабий труп, направился к большому озеру, что окружала плотная стена непроходимых камышовых зарослей. Он собирался вооружиться молотом, но молот слишком легок, иное дело - наковальня, ударами которой можно, если краб вдруг станет оживать, стереть его в порошок. А уж сил у Мальдорора хватит, за этим дело не станет! На озере плавали лебеди. Здесь, решил Мальдорор, будет нетрудно укрыться, и, не выпуская зловещей ноши, в тот же миг, сменив чудесным образом обличье, сам превратился в лебедя и присоединился к стае. Но рука Провидения вмешалась туда, куда, казалось бы, ей было не достать: внимайте же, и пусть рассказ об этом чуде окажется полезен вам. Новоявленный лебедь трижды обогнул белую стаю, но он был черен, словно вороново крыло, и выделялся среди всех, точно кусок угля на снегу. То праведный Господь не допустил, чтоб злобная хитрость Мальдорора обманула хотя бы этих простодушных птиц. И тщетно стремится он замешаться в середину - все лебеди чураются его, и ни один не подплывает близко и не касается его постыдно-черных перьев. Ему не остается ничего другого, как забиться в бухту в дальнем конце водоема; среди белых детей воздуха он так же одинок, как среди людей! То был пролог угасающей драмы, что разыгралась несколько позднее на Вандомской площади!

VII

(9) Златокудрый корсар получил письмо Мервина. И без труда различил в нем следы душевных мук того, кто водил пером, полагаясь лишь на собственное слабое разумение. Куда мудрее было бы спросить совета у родителей, чем так поспешно отвечать на дружбу неизвестного лица. Сколь опрометчиво решился юноша на главную роль в сомнительном спектакле, не сулящем никакой награды. Но так он захотел. В назначенный час Мервин захлопнул за собою дверь родного дома и зашагал по бульвару Себастополь к фонтану Сен-Мишель, затем проследовал по набережным Гранз-Отюстен и Конти, а дойдя до набережной Малаке, увидел на противоположной Луврской набережной человека, идущего в ту же сторону, что и он сам, несущего в руках пустой мешок и пристально его разглядывающего. Уже рассеялся утренний туман. В один и тот же миг два пешехода ступили с разных сторон на мост Каррусель. И, хотя прежде никогда не виделись, тотчас узнали друг друга! Ну, разве не прекрасно благородное душевное сродство, сблизившее их, невзирая на разницу в возрасте! Так подумал бы, всякий, пусть даже обладающий математическим умом, кто оказался бы свидетелем сего волнующего зрелища. Мервин, взволнованный до слез, твердил себе, что встретил на пороге жизни бесценного друга, опору во всех грядущих испытаниях. А что же тот, другой, - уж он-то ничего подобного не думал, можете поверить... Зато он действовал: раскрыл мешок, схватил за

голову Мервина и запихнул его в сие держжное вместилище. А горловину затянул платком. Мервин отчаянно кричал; тогда его мучитель, подняв мешок, как тук белья, стал колотить им о парапет моста. Услышав хруст своих костей, несчастный смолк. Вот бесподобная сцена, какая и не снилась нашим сочинителям! В то время через мост проезжал мясник на телеге, груженной тушами. Ему наперерез вдруг выбежал какой-то человек, остановил его и молвил: "Здесь в мешке – шелудивая псина, забейте ее поскорее". Мясник согласен. А тот, другой уже шагает прочь, идет и по пути встречается молодую нищенку с протянутой рукою. И- где предел бесстыдству и кощунству! – он подает ей милостыню! Ну, а теперь, если угодно, я покажу вам, что произошло на отдаленной бойне несколько часов спустя. Мясник, тот самый, соскочил с телеги, поставил наземь мешок и сказал товарищам: "Здесь шелудивый пес, прикончим его поскорее". Четыре молодца с охотой взялись за, тяжеленные кувалды. Но что-то останавливало их: уж очень дергался мешок. "Что со мною?" – воскликнул один, и занесенная рука его медленно опустилась. "Этот пес стонет, совсем как ребенок, – промолвил другой, – как будто знает, что с ним сделают". – "Такая уж у них повадка, – заметил третий, – не только у больных, но даже у здоровых: достаточно хозяину на день-другой отлучиться, и они принимают выть, да так, что тошно слушать". – "Постойте! Постойте! – вскричал вдруг четвертый, как раз в тот самый миг, когда все четверо вновь занесли кувалды, чтобы на этот раз решительно ударить по мешку. – Постойте, говорю вам! Здесь что-то неладно. Откуда вы знаете, что в мешке собака? А ну-ка я взгляну". И невзирая на смешки приятелей, он развязал мешок, откуда показались ноги, туловище, руки и голова Мервина! Он был так сдавлен, что едва не задохнулся. А лишь увидел свет, лишился чувств. Однако вскоре снова начал подавать несомненные признаки жизни. "Пусть это научит вас осмотрительности, которою не следует пренебрегать и в нашем ремесле", – сказал спаситель юноши своим друзьям. Мясники разбежались. Мервин же с тяжелым сердцем, мучимый мрачайшими предчувствиями, вернулся домой и заперся в своих покоях. Продолжить ли сию строфу? О, кто не ужаснется изложенному в ней! Однако подождем конца, и вы увидите, что он еще ужасней. Развязка близко, да и вообще в подобных случаях, когда описываешь страсть – какую именно – неважно, – лишь бы она сметала все преграды на своем пути, – совсем ни к чему запасаться целым чаном лака, чтобы покрыть им добрых четыре сотни скучнейших страниц. Что можно уместить в полдюжины строф, то следует скорей поведать и умолкнуть.

VIII

(10) Чтобы наладить механизм усыпляющей байки, недостаточно пичкать читателей мешаниной из галиматъи, доводя их до полного отупления, недостаточно парализовать мыслительные их способности на всю оставшуюся жизнь, нет, надо обладать еще такой магнетизирующей силой, чтоб погрузить их в сомнамбулическое забытье, заставить силой собственного зора изрядно помутиться их трезвый взгляд. Иначе говоря – и говоря не для того, чтоб прояснить, а чтобы углубить мою мысль, которая и манит, и смущает своею безупречною гармонией, – мне кажется, достичь желаемого можно, и не изобретая новых поэтических систем, однако же другими средствами подобного эффекта (по существу, вполне согласованного с законами эстетики) добиться нелегко; вот я и высказал все, что хотел. А потому приложу все старанья, чтобы преуспеть в сей труднейшей задаче! И если смерть засушит длинные тонкие ветви растущих из плеч моих рук, которые ожесточенно взламывают литературный гипс, что сковывает их, я бы хотел, чтобы читатель, облеченный в траур, мог по меньшей мере сказать: "Отдадим ему должное. Он изрядно меня подурачил. А то ли было бы еще, живи он подольше! Свет не видывал такого искусного гипнотизера!" Вдохновенные эти слова высекут на мраморном надгробии, к вящему удовольствию моих манов*. Итак, я продолжаю! В неглубокой ямке с водой болтался рыбий хвост, а рядом с ним валялся стоптанный сапог. Не подобает спрашивать: "А где же рыбина? Я вижу только хвост". Раз ясно сказано, что виден хвост, стало быть, хвост и только, без всякой рыбы. В ямке на берегу, заполненной дождевой водой... А что до сапога, то кое-кто высказывал предположение, будто бы владелец добровольно отказался от него. Наделенный божественной силой краб собрал все свои распыленные атомы и возродился. Он вытащил из лужи рыбий хвост и обещал ему вернуть утерянное тело, если тот возьмется доставить Создателю весть о том,



что посланник его оказался бессилён укротить бушующие волны мальдороровой души. И рыбий хвост, снабженный парой крыльев альбатроса, взлетел под облака. Но полетел он к чертогам отступника, донести обо всем и выдать краба! Однако тот проведаль его намеренья и, прежде чем забрезжил третий день, поразил коварного изменника отравленной стрелой. Лишь легкий стон вырвался из глотки предателя, и, испустив дух, он пал на землю. Тогда одна из поперечных балок с кровли старинного замка восстала и истступленно застучала, громко вопя об отмщенье. Но Вседержитель, обратившись в носорога, растолковал ей, что то была заслуженная кара. Угомонившаяся балка вновь заняла горизонтальную позицию в остове замка и созвала назад всех пауков, что в страхе разбежались, дабы они, как прежде, развесили на ней свои полотнища. А серноликий герой, узнав, как быстро сдалась его союзница, мятежная балка, приказал коронованному им безумцу поджечь ее, обратить ее в пепел. Агон без промедления исполнил безжалостный приказ. Затем воскликнул: "Коль скоро вы сказали, что срок исполнился, я вытащил кольцо, что было спрятано под каменной плитой, и привязал к нему веревку. Вот весь моток". И протянул хозяину моток толстой веревки длиной в шесть десятков метров. "А что четырнадцать кинжалов?" – осведомился Мальдорор и услышал в ответ, что они наготове. Злодей благосклонно кивнул. Но удивился и встревожился, когда Агон прибавил, что видел петуха, который клюнул канделябр, расколол его надвое и, заглянув поочередно в каждую из половин, вскричал, захлопав крыльями: "От улицы Пэ до Пантеона совсем недалеко. И скоро, скоро воспоследует тому плачевнейшее доказательство!" А краб верхом на буйном скакуне летел во весь опор к скале, которая была свидетелем полета палки, брошенной татуированной рукою, и первым его убежищем в подлунном мире. Туда же направлялся караван паломников, почтить сие святое место, где пролилась божественная кровь. И краб хотел догнать паломников, призвать на помощь, чтобы успеть расстроить вражьи козни, о коих был осведомлен. В последующих строках из моего утрюмого молчанья вы поймете, что план его не удался, и он не смог открыть паломникам все то, что сам узнал от некоего старьевщика, который прятался в лесах недостроенного дома, недалеко от моста Каррусель, в тот утренний час, когда этот мост, еще не высохший от утренней росы, расширял свои познания о мире с каждым ударом многогранного мешка о мраморный парапет! О, лучше, чтобы, прежде чем храб истерзает души слушателей рассказом об этом жутком происшествии, они заранее отбросили все надежды. Стряхни же лень, читатель, вооружись твердой волей и ступай со мною вместе, не теряя из виду безумного с ночным горшком на голове, толкающего в спину кого-то, кого бы тебе ни почем не узнать, когда бы я, придя тебе на помощь, не шепнул тебе на ухо имя, которое звучит: Мервин! Как он переменялся! Ни в чем не повинный, он, точно преступник к эшафоту, шагает со связанными руками. Вот и Вандомская площадь. С антаблемента гигантской колонны*, стоящей на кубе-постаменте, с пятидесятиметровой высоты некто сбросил веревку, она разматывается на лету и падает к ногам Агона. Обычно сноровку дает лишь привычка, однако же Агону удалось довольно быстро связать Мервину ноги. Но носорогу стало все известно. Покрытый потом, запыхавшийся, он появился на углу улицы Кастильоне. Увы, вкусить упоения боем он не успел. Ибо тот, кто озирал окрестности с вершины колонны, зарядил револьвер, старательно прицелился и спустил курок. Напрасно коммодор, который с того дня, как его сына охватило то, что он считал безумием, стал нищим, и несчастная мать, за неестественную бледность прозванная снежной девой, бросились заслонять его грудью. Было поздно. Пуля пробуравила толстую шкуру, так что казалось логичным ожидать мгновенной смерти. Но мы-то знаем, что под носорожьей шкурой скрывался сам Господь. Дух Божий отлетел, скорбя. И если бы не очевидная всем истина, что никакая тварь ни в коем разе недостойна быть оболочкою Творцу, то человеку на колонне пришлось бы плохо. Он продолжает начатое дело и резко тянет на себя веревку с грузом. Мервин вниз головой раскачивается на конце. Обеими руками хватается он за чугунную гирлянду из невянущих цветов, одну из тех, что соединяют углы подножия, о которое билась его голова. И увлекает за собою сей оказавшийся не столь незыблемым предмет. А супостат, скопив у своих ног изрядное количество наложенных друг на друга эллипсоидных витков веревки, так что Мервин вознесся на половину высоты бронзового обелиска, подхватил их левою рукою, а правой, непрерывно совершая круговые движения, придал подвешенному юноше вращение в плоскости, параллельной оси колонны. Гигантская праща свистала в воздухе, и на конце ее раскручивался Мервин, удерживаемый центробежною силой в крайней точке Радиуса той словно вычерченной в пустоте окружности, которую он вновь и вновь описывал. Цивилизованный дикарь все перехватывал веревку, пока она вся целиком не перешла в размах пращи, конец которой, точно (хотя это совсем неточно) палку, сжимал железной дланью. Затем он круг за кругом

обегают балюстраду, держась свободною рукою за перила. Тем самым усложнилась траектория веревки и увеличилось до крайности ее и без того значительное напряжение. Теперь праща, описывая замысловатые кривые, вращается и по горизонтали. Колонна и пеньковая веревка образуют прямой угол с равными сторонами! Рука отступника слилась в одну прямую с орудием убийства, как атомарные частички света, что составляют луч, пронизывающий темноту. Увы! законы механики неумолимы: известно, что две сложенные силы образуют равнодействующую, которая является их суммой! И кто посмеет возразить против того, что эта мускульно-веревочная линия давно бы порвалась, когда б не крепость закаленной плоти и не добротность пеньковых волокон? Внезапно златокудрый душегуб застыл на месте, разжал ладонь и выпустил веревку. И так сильна была отдача от этого, противному всему, что совершилось прежде, действия, что балюстрада затрещала и едва не развалилась на куски. Мервин со шлейфом из веревки напоминал комету с огненным хвостом. Такое сходство довершало железное кольцо, привязанное на конце, оно блистало в солнечных лучах. Я полагаю, что сила, которую мощный бросок придал обреченному юноше, была бесконечна, ибо, летя по гигантской параболе, он перенесся на левый берег Сены и врезался в купол Пантеона*, который плотно обмотало вервие. И ныне на этой выпуклой сфере, похожей, правда, лишь по форме, на апельсин, в любое время дня доступен взорам высохший скелет, по-прежнему висящий на веревке. Когда его раскачивает ветер, студенты из Латинского квартала, боясь подвергнуться подобной участи, спешат пробормотать молитву, хотя чуть слышный шум от этих колебаний способен напугать лишь маленьких детей. В руках скелета зажато нечто, похожее на длинную гирлянду из пожелтевших, высохших цветов. Но, принимая во внимание высоту, никто, как бы он ни был зорек, не может в точности сказать, действительно ли это те цветы, что были вырваны с массивного подножья в тот день, когда велась неравная борьба неподалеку от новой Оперы*. Впрочем, прежде каждая из четырех сторон подножия колонны имела украшение в виде полумесяца, теперь же сия симметрия нарушена, а кто не верит, пусть пойдет и убедится сам.

Комментарии к

Комментарии к "Песням Мальдорора" Лотреамона составлены Н.Мавлевич

... возможно, это треугольник, но третьей стороны не видно... Лотреамон любит вставлять в свои строфы цитаты из зоологических книг, намеренно перебивая высокопарный стиль сухим научным слогом. Основными источниками этих цитат послужили ему "Естественная история" Ж.-Л.Бюффона (1707-1788), "Классическая зоология" А.Пуше (1800-1872), "Энциклопедия естественной истории" Ж.-Ш.Шеню.

Мальдорор - существует несколько предположений, объясняющих значение имени героя Лотреамона; вполне очевидна только его связь с корнем "Mal" - "зло". См.также вступительную статью.

... надрезал себе уголки рта... Напрашивается сравнение с романом В.Гюго. "Человек, который смеется", однако он появился годом позже, чем первая песнь Мальдорора.

... вонзить длинные ногти в его нежную грудь... - первая из множества бюффонно-садистских сцен у Лотреамона. Нечто подобное описанному в данной строфе встречается в "Истории Жюльетты" маркиза деСада (1797). Возможно также, существует связь этих строк со стихотворением Бодлера "Благословение". Бодлер вообще оказал значительное влияние на Лотреамона.

Когда ж наскучит мне весь этот фарс нелепый,
Я руку наложу покорному на грудь,
И эти когти вмиг, проворны и свирепы,
Когтями гарпии проложат к сердцу путь.
(Цветы зла. Сплин и Идеал, I. Пер.В.Левика)

... уроженца Монтевидео. Имеется в виду сам автор: Изидор Дюкасс был родом из Монтевидео.

... во всех дворовых псов округи вселилось безумье... Французские исследователи отмечают близость следующей ниже сцены к стихотворению Ш.Леконт деЛилия "Воющие псы". В некоторых местах Лотреамон повторяет деЛилия почти дословно.

... око вселенной, на целый мир отверстие с любовью... - цитата из "Манфреда" Байрона (1,8).

О нежноокий спрут... В первом издании И песни здесь стояло имя Жоржа

Дазе, школьного друга Джюсса, упоминавшегося также в других строфах этой песни. Во втором издании от имени остался только инициал, а в каноническом, которое служит источником для перевода, оно заменено названиями отвратительных животных, первое из которых - спрут.

... тешит взор сурового геометра... возможно, намек на строки из эссе Жюль Мишле (1798-1874) "Море" (1,4).

Даровал же ты ему кита. Тот же Мишле говорит, что охота на китов способствовала расширению географических познаний человека (111,2).

... что легче измерить - бездну влажных недр океана или глубину человеческой души? Бросается в глаза сходство этого пассажа и стихотворения Бодлера "Человек и Море":

Кто тайное твое, о Человек, поведал?
Кто клады влажных недр исчислил и разведал,
О Море?..
(Цветы зла. Сплин и Идеал, XIV. Пер. Вяч. Иванова)

... луна подпрыгивала и болталась между мачтами... Лотреамон почти дословно повторяет выражение Шатобриана (см. "Путь из Парижа в Иерусалим").

О древний Океан! Как ты силен! В этой строфе слышны отголоски Байрона ("Паломничество Чайльд-Гарольда", IV, 180-181) и Гюго ("Океан", "Открытое море" из сборника "Легенда веков").

... великий девственник! Точно так же "великим, вечным девственником" назвал Шатобриан Господа Бога в первом издании "Гения христианства". Это неудачное выражение было подхвачено недоброжелателями поэта и долго еще употреблялось с издевкой по отношению к нему.

Подковонос - разновидность летучих мышей.

(11). В первом издании первой песни эта строфа представляла собой драматическую сцену с четырьмя персонажами: Отец, Мать, Дитя и Мальдорор. Нетрудно уловить сходство ее со знаменитой балладой Гете "Лесной царь".

Фероз - архипелаг в Северном море в 66 км от берегов Норвегии. Принадлежит Дании.

... наблюдал охоту на морских птиц... Здесь источник Лотреамона - XVI том популярного во Франции географического альманаха "Magazine pittoresque" ("Пестрые страницы"), где детально описана такая охота.

Эй, могильщик... Сцена вызывает ассоциации с разговором Гамлета и могильщика у Шекспира. В первом издании она также имела форму диалога.

... пеликан кормит собственной плотью голодных детей своих... - намек на известные строки А. де Мюссе:

Как только пеликан, в полете утомленный,
Туманным вечером садится в тростниках,
Птенцы уже бегут на берег опененный...
Утром и молчалив, среди камней холодных,
Он, плотью собственной кормя детей голодных,
Сторает от любви, удерживая стон...
(Майская ночь. Пер. В. А. Рождественского)

... два народа, прежде враждовавшие... В середине XIX в. Аргентина и Уругвай долго воевали друг с другом, с 1843 по 1851 г. (Джюсс родился в 1846 г.), столица Уругвая Монтевидео находилась в осаде. Гражданские смуты в Уругвае продолжались до 1865 г.

... орлана жадного. - Прямое заимствование из стихотворения Гюго "Ментана" (VII). Написанное в конце 1867 г., оно было у всех на слуху, когда создавались "Песни Мальдорора".

У пассажиров на империале... Луи Арагон, знаток и горячий поклонник Лотреамона, в одном из своих романов, осуждающем позицию равнодушного созерцания людских бед, приводит сцену с омнибусом из "Песен Мальдорора"; роман так и озаглавлен: "Пассажиры империала" (1942).

Бисетр - дом для престарелых и умалишенных.

... утратив правый путь... Эти строки Лотреамона навеяны, скорее всего, Данте, чья "Божественная комедия" начинается так:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
(Ад, I, 1-3. Пер. М. Лозинского)

Влияние Данте ощущается и далее в этой строфе.

Приветствую тебя, восходящее солнце, божественный освободитель... - почти дословное заимствование из "Бессмертия" Ламартина.

Серебряный фонарь под сводами храма... Сцена с фонарем навеяна стихотворением Ламартина "Лампада храма" (из сборника "Гармонии"), которое Лотреамон пародийно переосмысливает.

... какие мысли посещали меня в детстве, по утрам, когда алел восток... Вся строфа представляет собой пародию на стихотворение Ламартина "Утренний гимн ребенка" (из того же сборника "Гармонии").

Стипл-чейз - один из видов скачек.

... как стая куликов на заросли лаванды... - цитата из "Писем с моей мельницы" Альфонса Доде (начало первого письма).

... Мальдорор... гуляя со своим бульдогом... Аналогичная сцена встречается в "Истории Жюльетты" де Сада.

В рваных одеждах валялся он на дороге. Французский исследователь Лотреамона Пьер Карпец нашел источник, к которому восходит описание пьяного Творца, Это статья Луи Вейо в газете "Univers" за 25 мая 1868г.

Красный фонарь, зазывала порока... Эта строфа, возможно, представляет собой ироническое переложение стихотворения Уильяма Блейка (1757-1827) "Сад любви":

Я отправился в Сад любви.
 Я и раньше бывал там не раз.
 Но, придя, я его не узнал:
 Там часовня стояла сейчас.
 Дверь в часовню была заперта.
 "Бог накажет" - прочел я на ней.
 Я прочел, оглянулся вокруг:
 Не узнал ни дерев, ни аллея.
 Там, где было просторно цветам,
 Тесно жались могилы теперь,
 И священники в черном шли шагом дозорным
 И пути печали на любовь налажали.
 (Пер. В.Л. Топорова)

В оригинале сходство более очевидно. Так надпись на дверях по смыслу ближе той, что читает герой Лотреамона; священники кружат хоровод, как монахи в "Песнях Мальдорора".

... в местечке Дендера... на ветру. Имеется в виду древнеегипетский храм богини Хатор в Дендера, в 60км от Луксора. Французские комментаторы Лотреамона предполагают, что образ полчищ ос на карнизах храма он мог почерпнуть в эссе "Насекомые" Мишле, который рассказывает нечто подобное, ссылаясь на А.Пуше.

... разразился смехом при виде осла, поедающего фиги. Вероятно, имеется в виду эпизод из "Метаморфоз" Апулея, в котором превращенный в осла Луций поедает роскошные кушанья, а знатный хозяин дома со смехом за ним наблюдает (X,15-16).

... сталагтита или сталакмита... Лотреамон намеренно смешивает слова "сталактит" и "сталагмит".

Acantophorus serraticornis (лат.) - "пилотклювый шеглоносец" - выдуманное Лотреамоном название птицы.

Панокко - искаженное "паноккоко"; так называют в Южной Америке некоторые виды деревьев.

... гренландского анарнака... Анарнаками гренландцы называют китов-бутылконосов.

Скорпена - морской ерш, хищная рыба с ядовитыми колочками. Во Франции скорпену называют также морским чертом.

У скворцов особая манера летать... В пятой песни обнаруживается, по крайней мере, пять дословных цитат из "Энциклопедии естественной истории" Шеню. Одна из них - описание полета скворцов.

... любимым чадом мула... Мул, гибрид лошади и осла, как известно, бесплоден.

... коловратки и тихоходки могут выдержать нагревание до температуры кипения воды... - еще одно свидетельство эрудиции Лотреамона в зоологии. Коловратки и тихоходки - мелкие водяные беспозвоночные, известные Лотреамону из трудов Пуше или пользовавшегося ими Мишле.

... пересадить хивой крысе хвост от дохлой. О такой операции писал журнал "Revue des deux mondes" 1 июля 1868г.

... залетают лишь изредка... Рассуждение о поморниках - еще одно почти дословное заимствование из "Энциклопедии естественной истории" Шеню.

... чей мозг лишен варолиева моста. Варолиев мост - часть мозга, контролирующая разные функции организма, в том числе двигательную.

... где... я видел... этот... клюв... эти... ноздри! Описание пеликана позаимствовано у Шеню.

У королевского коршуна... Описание полета коршуна - прямая цитата из Бюффона, приведенная в "Энциклопедии естественной истории" Шеню.

Песнь VI. Шестая песнь композиционно отличается от предыдущих, представляя собой связную повесть о последнем преступлении Мальдорора, написанную как пародия на приключенческие романы типа "Приключений Рокамболя" Понсон дюТеррайя. В свое время Андре Жид восторженно отзывался об этой главе ("Дневник", ноябрь 1905).

... крики, что исходили из мешка! Эта и другие строфы последней песни заканчиваются упоминаниями о событиях, про которые еще предстоит узнать читателю. Это классический прием романов, печатавшихся с продолжением из номера в номер в альманахах и журналах. О таинственном мешке пойдет речь в 9-й строфе песни.

... ни улице Вивиен... На этой улице одно время жил сам Лотреамон.

... прекрасен... как соседство... швейной машины с зонтиком! Комментаторы предполагают, что "соседство швейной машины с зонтиком" перекочевало на страницы Лотреамона с какой-нибудь рекламной картинки.

Тартан - клетчатый шотландский плед.

... о железном кольце, что спрятала под камень рука маньяка. Лотреамон снова забегает вперед, интригуя читателей. Маньяк появится в 7-й строфе.

... коммодорская шпага... Коммодор - звание, которое носит в английском флоте командующий эскадрой.

... хрустальный флакон, заключающий влагу, способную... стать живительной. В XX главе романа Метьюрин "Мельмот-скиталец", несомненно, хорошо известного Лотреамону, встречается сцена, подобная описанной в данной строфе (обморок молодой девушки, которой грозит опасность; смятение ее родных; флакон с солями, который служанки приносят взволнованной матери).

... черный лебедь, которого... сторонятся его... собратья. Черный лебедь и краб появятся в конце 8-й строфы.

... рыбий хвост... балка... пуля... вонзится в шкуру носорога... Все перечисленное, так же как снежная дева и коронованный безумец, явится в 10-й строфе.

Апневрозы - пронизанные сухожилиями соединительные оболочки на мышцах.

... пророчество петуха... караван паломников... тряпичник из Клиньянкура. Предвосхищение событий 8-й и 10-й строф.

Агон - от греч. aghōn - петля. Намек на роль, которую предстоит сыграть этому персонажу.

Викунья (или вигонь) - парнокопытное животное из рода лам.

Маны - в римской мифологии обожествленные духи предков, хранители гробниц.

... с антаблемента гигантской колонны... Имеется в виду Вандомская колонна, установленная Наполеоном в честь победоносной французской армии.

Пантеон - усыпальница великих людей; высокое, увенчанное куполом сооружение, расположенное в Латинском квартале.

... неподалеку от новой Оперы. Здание парижской Оперы только строилось, когда писались "Песни Мальдорора".